ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ДЕТСТВО

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ 1

Полное собрание сочинений. Том 1. Детство

Лев Николаевич Толстой

Лев Николаевич Толстой. Детство.
Предисловие к электронному изданию
Снимок с дагеротипного портрета Л. Н. Толстого 1848 г. работы Шенфельда в Петербурге (размер подлинника) – между XVI и XVII стр.
ГЛАВА I. УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ.
ГЛАВА II. MAMAN.
ГЛАВА III. ПАПА.
ГЛАВА IV. КЛАССЫ.
ГЛАВА V. ЮРОДИВЫЙ.
ГЛАВА VI. ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОХОТЕ.
ГЛАВА VII. ОХОТА.
ГЛАВА VIII. ИГРЫ.
ГЛАВА IX. ЧТО-ТО В РОДЕ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ.
ГЛАВА X. ЧТО́ ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ МОЙ ОТЕЦ?
ГЛАВА XI. ЗАНЯТИЯ В КАБИНЕТЕ И ГОСТИНОЙ.
ГЛАВА XII. ГРИША.
ГЛАВА XIII. НАТАЛЬЯ САВИШНА.
ГЛАВА XIV. РАЗЛУКА.
ГЛАВА XV. ДЕТСТВО.
ГЛАВА XVI. СТИХИ.

ГЛАВА XVII. КНЯГИНЯ КОРНАКОВА.
ГЛАВА XVIII. КНЯЗЬ ИВАН ИВАНЫЧ.
ГЛАВА XIX. ИВИНЫ.
ГЛАВА XX. СОБИРАЮТСЯ ГОСТИ.
ГЛАВА XXI. ДО МАЗУРКИ.
ГЛАВА XXII. МАЗУРКА.
ГЛАВА XXIII.ПОСЛЕ МАЗУРКИ.
ГЛАВА XXIV. В ПОСТЕЛИ.
ГЛАВА XXV. ПИСЬМО.
ГЛАВА XXVI. ЧТО ОЖИДАЛО НАС В ДЕРЕВНЕ.
ГЛАВА XXVII. ГОРЕ.
ГЛАВА
XXVIII.ПОСЛЕДНИЕ ГРУСТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ.
М. А. Цявловский. Комментарии к «Детству».
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ПЕРВОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

Лев Николаевич Толстой. Детство.

Государственное издательство «Художественная литература»
Москва — 1935

Электронное издание осуществлено в рамках краудсорсингового проекта «Весь Толстой в один клик».
Организаторы:
Государственный музей Л.Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 1-го тома Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставленной Российской государственной библиотекой
Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам info@tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 1-му тому Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого включены в настоящее издание

Перепечатка разрешается безвозмездно

–

Reproduction libre pour tous les pays.

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л.Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером — компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY

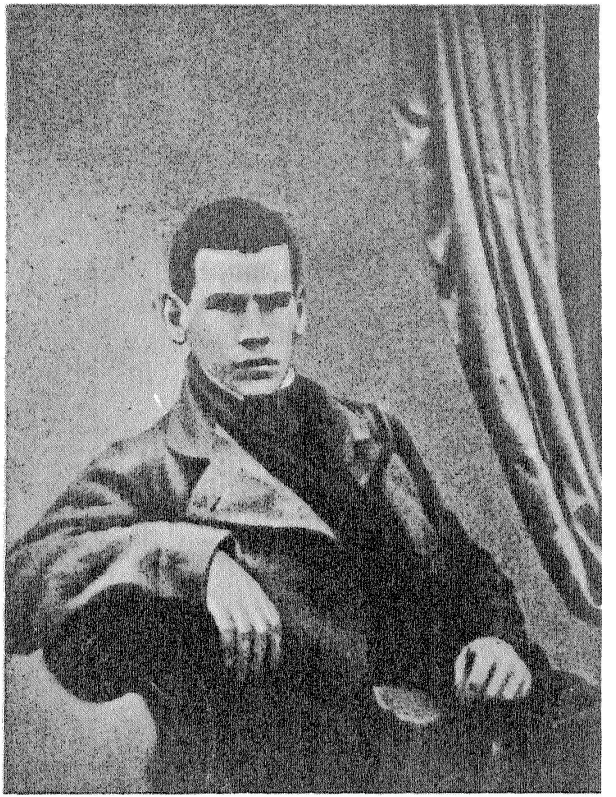
FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца — второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Снимок с дагеротипного портрета Л. Н. Толстого 1848 г. работы Шенфельда в Петербурге (размер подлинника) – между XVI и XVII стр.



Л. Н. ТОЛСТОЙ
1848 г.

ГЛАВА
I. УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ.

12-го августа 18.... ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в 7 часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и, хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим — думал я — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и

мучит. Только о том и думает всю жизнь — прошептал я — как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает.... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!».

В то время, как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа, повернулся к нам.

— Auf, Kinder, auf!... s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal,[1] крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. — Nu, nun, Faulenzer![2] говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал

---

1 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 1
[Вставать, дети, вставать!... Пора. Мама уже в зале,]

2 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 2
[Ну, ну, ленивец!]

голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

— Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!

Мне было досадно и на самого себя и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen sie,[3] Карл Иваныч! закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?... Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон, — будто maman умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что

---

3 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 3

[Ах, оставьте,]

решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокоивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иваныч оставил меня, и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай — маленький, чистенький человечек, всегда серьёзный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь:Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:

— Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.

Я совсем развеселился.

— Sind sie bald fertig?[4] послышался из классной голос Карла Иваныча.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна — наша, детская, другая — Карла Иваныча, *собственная*. На нашей были всех сортов книги — учебные и не учебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома Histoire des voyages,[5] в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом и пошли, длинные, толстые, большие и маленькие книги, — корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут, перед рекреацией, привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на *собственной*, если не была так велика, как на

---

4 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 4
[Скоро вы готовы?]

5 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 5
[История путешествий,]

нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту — без переплета, один том истории семилетней войны — в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но кроме этих книг и «Северной Пчелы» он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это — кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которойкружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая каррикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок съ парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисован-

ным егерем на цыферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка; зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх, в классную, смотришь — Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые, полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! я помню, как он рассказывал ее Николаю — ужасно быть в его положении! И так жалко станет, что бывало подойдешь к нему, возьмешь

за руку и скажешь: «Lieber[6] Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна — изрезанная, наша, другая — новенькая, *собственная*, употребляемая им более для поощрения, чем для линевания; с другой — черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками — маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, — а каково мне? и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг

---

6 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 6
[Милый]

упадет с шумом слишком большой кусок на землю, право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, — а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашеных, но от долгого употребления залакированных, табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой — стриженая липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть

не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть и, Бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.

Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстух и повел нас вниз — здороваться с матушкой.

ГЛАВА II. MAMAN.

Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такою, какою она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.

Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только

что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Clementi. Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких обшитых кружевом панталончиках и октавы могла брать только arpeggio.[7] Подле нее вполоборот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иваныч. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать: un, deux, trois, un, deux, trois[8] еще громче и повелительнее, чем прежде.

Карл Иваныч, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению, с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Иванычу и поцаловала его в морщинистый висок, в то время как он цаловал ее руку:

---

7 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 7
[Арпеджо — звуки аккорда, следующие один за другим.]

8 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 8
[раз, два, три, раз, два, три]

— Ich danke, lieber[9] Карл Иваныч, — и, продолжая говорить по-немецки, она спросила:

— Хорошо ли спали дети?

Карл Иваныч был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слыхал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал:

— Вы меня извините, Наталья Николаевна?

Карл Иваныч, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволения.

— Наденьте, Карл Иваныч.... Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети? — сказала maman, подвинувшись к нему и довольно громко.

Но он опять ничего не слыхал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался.

— Постойте на минутку, Мими, — сказала maman Марье Ивановне с улыбкой: — ничего не слышно.

Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кру-

---

9 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 9
[Благодарю, милый]

гом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотою лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.

Поздоровавшись со мною, maman взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:

— Ты плакал сегодня?

Я не отвечал. Она поцаловала меня в глаза и по-немецки спросила:

— О чем ты плакал?

Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве.

— Это я во сне плакал, maman, — сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли.

Карл Иваныч подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде, — разговор, в котором приняла участие и Мими, — maman положила на поднос шесть кусочков сахару для некоторых почетных слуг, встала и подошла к

пяльцам, которые стояли у окна.

— Ну, ступайте теперь к папа, дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно.

Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название *официантской*, мы вошли в кабинет.

ГЛАВА III. ПАПА.

Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте, между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами.

Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот: когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно — выражало сознание своего достоинства и, вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а, впрочем, воля ваша!

Увидев нас, папа только сказал:

— Погодите, сейчас.

И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее.

— Ах, Боже мой милостивый! что с тобой нынче,

Яков? — продолжал он к приказчику, подергивая плечом (у него была эта привычка). — Этот конверт со вложением 800 рублей....

Яков подвинул счеты, кинул 800 и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что́ будет дальше.

— .... для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь? За мельницу ты должен получить 1.000 рублей.... так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно 8.000; за сено, которого, по твоему же расчету, можно продать 7.000 пудов — кладу по 45 копеек — ты получишь 3.000; следовательно всех денег у тебя будет сколько? 12.000.... так или нет?

— Так точно-с, — сказал Яков.

Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить; папа перебил его:

— Ну, из этих-то денег ты и пошлешь 10.000 в Совет за Петровское. — Теперь деньги, которые находятся в конторе, — продолжал папа (Яков смешал прежние 12.000 и кинул 21.000), — ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе.(Яков смешал счеты и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги 21.000 пропадут так же.) Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу.

Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано: «Карлу Ивановичу Мауеру».

Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание, на всякий же случай поцаловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече.

— Слушаю-с, — сказал Яков. — А какое приказание будет насчет хабаровских денег?

Хабаровка была деревня maman.

— Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания.

Яков помолчал несколько секунд; потом вдруг пальцы его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счеты и начал говорить:

— Позвольте вам доложить, Петр Александрыч, что, как вам будет угодно, а в Совет к сроку заплатить нельзя. — Вы изволите говорить, — продолжал он с расстановкой, — что должны получиться деньги с залогов, с мельницы и с сена… (Высчитывая эти статьи, он кинул их на

кости.) Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах, — прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на папа.

— Отчего?

— А вот изволите видеть: насчет мельницы, так мельник уже два раза приходил ко мне отсрочки просить и Христом Богом божился, что денег у него нет.... да он и теперь здесь: так не угодно ли вам будет самим с ним поговорить?

— Что же он говорит? спросил папа, делая головою знак, что не хочет говорить с мельником.

— Да известно что? говорит, что помолу совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, *судырь*, так опять-таки найдем ли тут расчет? — Насчет залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели и скоро их получить не придется. Я намедни посылал в город к Иван Афанасьичу воз муки и записку об этом деле: так они опять-таки отвечают, что и рад бы стараться для Петра Александрыча, но дело не в моих руках, а что как по всему видно, так вряд ли и через два месяца получится ваша квитанция. — Насчет сена изволили говорить, положим, что и продастся на 3.000....

Он кинул на счеты 3.000 и с минуту молчал,

посматривая то на счеты, то в глаза папа, с таким выражением:

«Вы сами видите, как это мало! Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать, вы сами изволите знать…»

Видно было, что у него еще большой запас доводов; должно быть, поэтому папа перебил его.

— Я распоряжений своих не переменю, сказал он: — но если в получении этих денег действительно будет задержка, то, нечего делать, возьмешь из хабаровских, сколько нужно будет.

— Слушаю-с.

По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие.

Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек; он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина насчет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имений на Петровское (село, в котором мы жили). В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом.

Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими, и что пора нам серьезно учиться.

— Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою, сказал он. — Вы будете жить у бабушки, а maman с девочками остается здесь. И вы это знайте, что одно для нее будет утешение — слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны.

Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного, однако, новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушки.

— Так вот что предвещал мне мой сон! подумал я: — дай Бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже.

Мне очень, очень жалко стало матушку и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня.

«Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет: это славно! думал я. — Однако, жалко Карла Иваныча. Его верно отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта.... Уж лучше бы век учиться да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Иваныча.

Он и так очень несчастлив!»

Мысли эти мелькали в моей голове; я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков.

Сказав с Карлом Иванычем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак, с тем, чтобы на прощаньи выехать после обеда послушать молодых гончих, папа, против моего ожидания, послал нас учиться, утешив, однако, обещанием взять на охоту.

По дороге наверх я забежал на террасу. У дверей, на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца — Милка.

— Милочка, говорил я, лаская ее и целуя в морду: — мы нынче едем; прощай! никогда больше не увидимся.

Я расчувствовался и заплакал.

ГЛАВА IV. КЛАССЫ.

Карл Иваныч был очень не в духе. Это было заметно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означить то место, до которого мы должны были вытвердить. Володя учился порядочно; я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов, но от слез, набиравшихся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать; когда же пришло время говорить их Карлу Иванычу, который, зажмурившись, слушал меня (это был дурной признак), именно на том месте: где один говорит: Wo kommen sie her?[10] а другой отвечает: ich komme vom Kaffe-Hause,[11] я не мог более удерживать слез и от рыданий не мог произнести: Haben sie die Zeitung nicht

---

10 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 10
[Откуда вы идете?]

11 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 11
[я иду изъ кафе,]

gelesen?[12] Когда дошло дело до чистописания, я от слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на оберточной бумаге.

Карл Иваныч рассердился, поставил меня на колени, твердил, что это упрямство, кукольная комедия (это было любимое его слово), угрожал линейкой и требовал, чтобы я просил прощенья, тогда как я от слез не мог слова вымолвить; наконец, должно быть, чувствуя свою несправедливость, он ушел в комнату Николая и хлопнул дверью.

Из классной слышен был разговор в комнате дядьки.

— Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву? сказал Карл Иваныч, входя в комнату.

— Как же-с, слышал.

Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иваныч сказал: «сиди, Николай!» и вслед за этим затворил дверь. Я вышел из угла и подошел к двери подслушивать.

— Сколько ни делай добра людям, как ни будь привязан, видно, благодарности нельзя ожидать, Николай? говорил Карл Иваныч с чувством.

Николай, сидя у окна, за сапожной работой,

---

12 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 12
[Вы не читали газеты?]

утвердительно кивнул головой.

— Я двенадцать лет живу в этом доме и могу сказать перед Богом, Николай, продолжал Карл Иваныч, поднимая глаза и табакерку к потолку: — что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети. Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, как я девять дней, не смыкая глаз, сидел у его постели. Да: тогда я был добрый, милый Карл Иваныч, тогда я был нужен; а теперь, прибавил он, иронически улыбаясь: — теперь *дети большие стали: им надо серьезно учиться.* Точно они здесь не учатся, Николай?

— Как же еще учиться, кажется, сказал Николай, положив шило и протягивая обеими руками дратвы.

— Да, теперь я не нужен стал, меня и надо прогнать; а где обещания? где благодарность? — Наталью Николаевну я уважаю и люблю, Николай, сказал он, прикладывая руку к груди: — да что́ она?... ее воля в этом доме все равно, что́ вот это; при этом он с выразительным жестом кинул на пол обрезок кожи.– Я знаю, чьи это штуки и отчего я стал ненужен: оттого, что я не льщу и не потакаю во всем, как *иные люди.* Я привык всегда и перед всеми говорить правду, сказал он

гордо. — Бог с ними! Оттого, что меня не будет, они не разбогатеют, а я, Бог милостив, найду себе кусок хлеба.... не так ли, Николай?

Николай поднял голову и посмотрел на Карла Иваныча так, как будто желая удостовериться, действительно ли может он найти кусок хлеба, — но ничего не сказал.

Много и долго говорил в этом духе Карл Иваныч: говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил (мне очень больно было это слышать), говорил о Саксонии, о своих родителях, о друге своем портном Schönheit и т. д. и т. д.

Я сочувствовал его горю, и мне больно было, что отец и Карл Иваныч, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга; я опять отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о том, как бы восстановить между ними согласие.

Вернувшись в классную, Карл Иваныч велел мне встать и приготовить тетрадь для писания под диктовку. Когда всё было готово, он величественно опустился в свое кресло и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее: «Von al-len Lei-den-schaf-ten die grau-samste ist.... haben sie

geschrieben?»[13] Здесь он остановился, медленно понюхал табаку и продолжал с новой силой: «die grausamste ist die Un-dank-bar-keit.... Ein grosses U.»[14] В ожидании продолжения, написав последнее слово, я посмотрел на него.

— Punctum,[15] сказал он с едва заметной улыбкой и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради.

Несколько раз, с различными интонациями и с выражением величайшего удовольствия, прочел он это изречение, выражавшее его задушевную мысль; потом задал нам урок из истории и сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде; оно выражало довольство человека, достойно отмстившего за нанесенную ему обиду.

Было без четверти час; но Карл Иваныч, казалось, и не думал о том, чтобы отпустить нас: он то-и-дело задавал новые уроки. Скука и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворовая женщина с мочалкой идет мыть тарелки, вот

---

13 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 13
[Из всех пороков самый тяжкий.... написали?]

14 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 14
[самый тяжкий есть Неблагодарность... Большое Н.]

15 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 15
[Точка,]

слышно, как шумят посудой в буфете, раздвигают стол и ставят стулья, вот и Мими с Любочкой и Катенькой (Катенька — двенадцатилетняя дочь Мими) идут из саду; но не видать Фоки — дворецкого Фоки, который всегда приходит и объявляет, что кушать готово. Тогда только можно будет бросить книги и, не обращая внимания на Карла Иваныча, бежать вниз.

Вот слышны шаги по лестнице; но это не Фока! Я изучил его походку и всегда узнаю скрип его сапогов. Дверь отворилась, и в ней показалась фигура, мне совершенно незнакомая.

ГЛАВА V. ЮРОДИВЫЙ.

В комнату вошел человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою, продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачек этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение.

— Ага! попались! закричал он, маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку, — потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. — О-ох жалко! о-ох больно!... сердечные.... улетят, за-

говорил он потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы.

Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неровны, речь бессмысленна и несвязна (он никогда не употреблял местоимений), но ударения так трогательны, и желтое, уродливое лицо его принимало иногда такое откровеннопечальное выражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти.

Это был юродивый и странник Гриша.

Откуда был он? кто были его родители? что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? никто не знал этого. Знаю только то, что он с пятнадцатого года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке, и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй.

Наконец явился давно желанный и пунктуаль-

ный Фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и maman ходили рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Марья Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично под прямым углом, примыкавшим к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставления сидевшим подле нее девочкам. Как только Карл Иваныч вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так: я вас не замечаю, Карл Иваныч. По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие; но вскочить с своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать: «bonjour, Mimi!», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры.

Что за несносная особа была эта Мими! При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить: она всё находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала: parlez donc français,[16]

---

16 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 16
[говорите же по-французски,]

а тут-то, как на зло, так и хочется болтать по-русски; или за обедом — только что войдешь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно — mangez donc avec du pain, или comment ce que vous tenez votre fourchette?[17] «И какое ей до нас дело! — подумаешь. Пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иваныч». Я вполне разделял его ненависть к *иным людям*.

— Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту, сказала Катенька шопотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую.

— Хорошо; постараемся.

Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком; он не поднимал глаз с своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам с собою: жалко!... улетела.... улетит голубь в небо.... ох, на могиле камень!... и т. п.

Maman с утра была расстроена; присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение.

— Ах да, я было и забыла попросить тебя об

---

17 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 17
[ешьте же с хлебом, или как вы держите вилку?]

одной вещи, сказала она, подавая отцу тарелку с супом.

— Что́ такое?

— Вели пожалуста запирать своих страшных собак; а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они этак и на детей могут броситься.

Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать:

— Хотел, чтобы загрызли… Бог не попустил. Грех собаками травить! большой грех! Не бей *большак*,[18] что бить? Бог простит.... дни не такие.

— Что́ это он говорит? спросил папа, пристально и строго рассматривая его. — Я ничего не понимаю.

— А я понимаю, отвечала maman: — он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак, так он и говорит: «хотел, чтобы загрызли, но Бог не попустил, и просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его».

— А! вот что! сказал папа. — Почем же он знает, что я хочу наказывать этого охотника? — Ты знаешь, я вообще не большой охотник до этих

---

18 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 18

Так он безразлично называл всех мужчин.

господ, продолжал он по-французски: — но этот особенно мне не нравится и должен быть....

— Ах, не говори этого, мой друг, прервала его maman, как будто испугавшись чего-нибудь: — почем ты знаешь?

— Кажется, я имел случай изучить эту породу людей — их столько к тебе ходит — все на один покрой. Вечно одна и та же история....

Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить.

— Передай мне пожалуста пирожок, сказала она. — Чтó, хороши ли они нынче?

— Нет, меня сердит, продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы maman не могла достать его: — нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман.

И он ударил вилкой по столу.

— Я тебя просила передать мне пирожок, повторила она протягивая руку.

— И прекрасно делают, продолжал папа, отодвигая руку: — что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстроивают и без того слабые нервы некоторых особ, прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал

ей пирожок.

— Я на это тебе только одно скажу: трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои шестьдесят лет, зиму и лето ходит босой и не снимая носит под платьем вериги в два пуда весом, и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом, — трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени.

— Насчет предсказаний, прибавила она со вздохом и помолчав немного: — je suis payée pour y croire;[19] я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину.

— Ах, что ты со мной сделала! сказал папа, улыбаясь и приставив руку ко рту с той стороны, с которой сидела Мими (Когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного.) — Зачем ты мне напомнила об его ногах? я посмотрел и теперь ничего есть не буду.

Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертелись на своих стульях и вообще изъявляли сильное

---

19 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 19
[я достаточно поплатилась, чтобы в это верить;]

беспокойство. Подмигивание это значило: «что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?» Я толкнул локтем Володю, Володя толкнул меня и наконец решился: сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко, он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту, в линейке. После небольшого совещания между большими, вопрос этот решен был в нашу пользу, и — что было еще приятнее — maman сказала, что она сама поедет с нами.

ГЛАВА VI. ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОХОТЕ.

Во время пирожного был позван Яков, и отданы приказания насчет линейки, собак и верховых лошадей — всё с величайшею подробностию, называя каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала; папа велел оседлать для него охотничью. Это слово: «охотничья лошадь», как-то странно звучало в ушах maman: ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то в роде бешеного зверя, и что она непременно понесет и убьет Володю. Несмотря на увещания папа и Володи, который с удивительным молодечеством говорил, что это ничего и что он очень любит, когда лошадь несет, бедняжка maman продолжала твердить, что она всё гулянье будет мучиться.

Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упадшими, желтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о том, что Володя поедет на охотничьей лошади, о том, как стыдно, что Любочка тише бегает, чем Катенька, о том, что интересно было бы

посмотреть вериги Гриши, и т. д.; о том же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидело по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками, за охотниками — кучер Игнат, на назначенной Володе лошади, и вел в поводу моего старинного клепера. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали наверх одеваться, и одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Нимало не медля, мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо наслаждаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками.

День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлиннели и бежали на горизонт; другие, над

самой головой, превратились в белую прозрачную чешую; одна только черная большая туча остановилась на востоке. Карл Иваныч всегда знал, куда какая туча пойдет; он объявил, что эта туча пойдет к Масловке, что дождя не будет, и погода будет превосходная.

Фока, несмотря на свои преклонные лета, сбежал с лестницы очень ловко и скоро, крикнул: «подавай!» и, раздвинув ноги, твердо стал по средине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом, в позиции человека, которому не нужно напоминать о его обязанности. Барыни сошли и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться (хотя, мне кажется, совсем не нужно было держаться), уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, maman, указывая на «охотничью лошадь», спросила дрожащим голосом у кучера:

— Эта для Владимира Петровича лошадь?

И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении: взлез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по двору разные эволюции.

— Собак не извольте раздавить, сказал мне какой-то охотник.

— Будь покоен: мне не в первый раз, отвечал я гордо.

Володя сел на «охотничью лошадь», несмотря на твердость своего характера, не без некоторого содрогания, и, оглаживая ее, несколько раз спросил:

— Смирна ли она?

На лошади же он был очень хорош — точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно, — особенно потому, что, сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида.

Вот послышались шаги папа на лестнице; выжлятник подогнал отрыскавших гончих; охотники с борзыми подозвали своих и стали садиться. Стремянный подвел лошадь к крыльцу; собаки своры папа, которые прежде лежали в разных живописных позах около нее, бросились к нему. Вслед за ним, в бисерном ошейнике, побрякивая железкой, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками: с одними поиграет, с другими понюхается и порычит, а у некоторых поищет блох.

Папа сел на лошадь, и мы поехали.

ГЛАВА VII. ОХОТА.

Доезжачий, прозывавшийся Турка, на голубой, горбоносой лошади, в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал впереди всех. По мрачной и свирепой наружности этого человека скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади, пестрым, волнующимся клубком, бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную, которой вздумывалось отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из выжлятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арапником, приговаривая: «в кучу!» Выехав за ворота, папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле.

Хлебная уборка была во всем разгаре. Необозримое, блестяще-желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким, синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдаленным, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Все

поле было покрыто копнами и народом. В высокой, густой ржи виднелись кой-где, на выжатой полосе, согнутая спина жницы, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина, в тени, нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками жнивью. В другой стороне мужики в одних рубахах, стоя на телегах, накладывали копны и пылили по сухому, раскаленному полю. Староста, в сапогах и армяке в накидку, с бирками в руке, издалека заметив папа, снял свою поярковую шляпу, утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрикивал на баб. Рыженькая лошадка, на которой ехал папа, шла легкой, игривой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на нее. Две борзые собаки, напряженно загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жнивью, за ногами лошади; Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей и телег, веселый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые

разливало палящее солнце по светло-желтому жнивью, синей дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жнивью, — всё это я видел, слышал и чувствовал.

Подъехав к Калиновому лесу, мы нашли линейку уже там и, сверх всякого ожидания, еще телегу в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелись: самовар, кадка с мороженой формой и еще кой-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться: это был чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. При виде телеги, мы изъявили шумную радость, потому что пить чай в лесу на траве и вообще на таком месте, на котором никто и никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением.

Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал от папа подробное наставление, как равняться и куда выходить (впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по своему), разомкнул собак, не спеша второчил смычки, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми березками. Разомкнутые гончие прежде всего маханиями хвостов выразили свое удовольствие, встряхнулись, оправились

и потом уже маленькой рысцой, принюхиваясь и махая хвостами, побежали в разные стороны.

— Есть у тебя платок? спросил папа.

Я вынул из кармана и показал ему.

— Ну, так возьми на платок эту серую собаку....

— Жирана? сказал я, с видом знатока.

— Да; и беги по дороге. Когда придет полянка, остановись и смотри: ко мне без зайца не приходить!

Я обмотал платком мохнатую шею Жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед:

— Скорей, скорей, а то опоздаешь.

Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканью охотников. У меня недоставало сил стащить его с места, и я начинал кричать: «ату! ату!» Тогда Жиран рвался так сильно, что я насилу мог удерживать его, и не раз упал, покуда добрался до места. Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лег на траву, усадил подле себя Жирана и начал ожидать. Воображение мое, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперед действительности: я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время, как отозвалась в лесу первая гончая. Голос Турки громче

и одушевленнее раздался по лесу; гончая взвизгивала, и голос ее слышался чаще и чаще; к нему присоединился другой, басистый голос, потом третий, четвертый.... Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее и наконец слились в один звонкий, заливистый гул. *Остров был голосистый и гончие варили варом.*

Услыхав это, я замер на своем месте. Вперив глаза в опушку, я бессмысленно улыбался; пот катился с меня градом, и хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряженности было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня; зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С Жираном было то же самое: сначала он рвался и взвизгивал, потом лег подле меня, положил морду мне на колени и успокоился.

Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел, по серой, сухой земле, между сухими дубовыми листьями, жолудьми, пересохшими, обомшалыми хворостинками, желто– зеленым мхом и изредка пробивавшимися, тонкими,

зелеными травками, кишмя кишели муравьи. Они, один за другим, торопились, по пробитым ими торным дорожкам: некоторые с тяжестями, другие порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под нее, другие перелезали через; а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что́ делать: останавливались, искали обхода, или ворочались назад, или по хворостинке добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был отвлечен бабочкой, с желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вилась передо мною. Как только я обратил на нее внимание, она отлетела от меня шага на два, повилась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли ее пригрело, или она брала сок из этой травки — только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку, наконец совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на нее.

Вдруг Жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке

леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову и я всё забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаяваться: заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видал.

Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не *выдержал*) и, презрительно взглянув на меня, сказал только: «эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано! Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло.

Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя по ляжкам.

— Боже мой, что́ я наделал!

Я слышал, как гончие погнали дальше, как

застукали[20] на другой стороне острова, отбили зайца, и как Турка в свой огромный рог вызывал собак, — но всё не трогался с места....

20 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 20

ОТ РЕДАКЦИИ. В седьмой главе первого тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (стр. 26, строка 1 сверху) напечатано согласно тексту „Современника" и всех прочих печатных изданий: „застукали на другой стороне".

В данном случае Редакция полагалась на текст „Современника", который редактировался Н. А. Некрасовым, как известно, опытным охотником. Вследствие этого в журнальный текст, а за ним и во все издания, вкралась ошибка. Вместо охотничьего термина „заатукать" или „заотукать", как писал Толстой, употребивший этот термин в черновой редакции „Детства" — „Четыре эпохи развития" (см. стр. 129, отрока 32), ошибочно напечатано: „застукали".

Редакция.

ГЛАВА VIII. ИГРЫ.

Охота кончилась. В тени молодых березок был разостлан ковер и на ковре кружком сидело всё общество. Буфетчик Гаврило, примяв около себя зеленую сочную траву, перетирал тарелки и доставал из коробочки завернутые в листья сливы и персики. Сквозь зеленые ветви молодых берез просвечивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на плешивую, вспотевшую голову Гаврилы круглые, колебающиеся просветы. Легкий ветерок, пробегая по листве деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу, чрезвычайно освежал меня.

Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые, палящие лучи солнца, встали и отправились играть.

— Ну, во что́? сказала Любочка, щурясь от солнца и припрыгивая по траве. — Давайте в Робинзона.

— Нет.... скучно, сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья: — вечно Робинзон! Ежели непременно хотите, так давайте

лучше беседочку строить.

Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, что очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта состояла в представлении сцен из «Robinson Suisse»,[21] которого мы читали не задолго пред этим.

— Ну, пожалуста.... отчего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия? приставали к нему девочки. — Ты будешь Charles или Ernest, или отец — как хочешь? говорила Катенька, стараясь за рукав курточки приподнять его с земли.

— Право не хочется — скучно! сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь.

— Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть, сквозь слезы выговорила Любочка.

Она была страшная плакса.

— Ну, пойдемте; только не плачь пожалуста: терпеть не могу!

Снисхождение Володи доставило нам очень

---

21 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 21
[Швейцарский Робинзон,]

мало удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушал всё очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Володя сидел сложа руки и в позе, неимеющей ничего схожего с позой рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что от того, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем и всё же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны, тем более, что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно.

Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были тройка лошадей, — и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались

в этой дороге! и как весело и скоро проходили зимние вечера!... Ежели судить по настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остается?...

ГЛАВА IX. ЧТО-ТО В РОДЕ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ.

Представляя, что она рвет с дерева какие-то американские фрукты, Любочка сорвала на одном листке огромной величины червяка, с ужасом бросила его на землю, подняла руки кверху и отскочила, как будто боясь, чтобы из него не брызнуло чего– нибудь. Игра прекратилась; мы все, головами вместе, припали к земле — смотреть эту редкость.

Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге.

Я заметил, что многие девочки имеют привычку подергивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Еще помню, что Мими всегда сердилась за это движение и говорила: *c'est un geste de femme de chambre.*[22] Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение, и в то же время ветер поднял ко-

---

22 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 22
[это жест горничной.]

сыночку с ее беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка, смотрел-смотрел и изо всех сил поцаловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейка ее и уши покраснели. Володя, не поднимая головы, презрительно сказал:

— Чтó за нежности?

У меня же были слезы на глазах.

Я не спускал глаз с Катеньки. Я давно уже привык к ее свеженькому, белокуренькому личику и всегда любил его; но теперь я внимательнее стал всматриваться в него и полюбил еще больше. Когда мы подошли к большим, папа, к великой нашей радости, объявил, что, по просьбе матушки, поездка отложена до завтрашнего утра.

Мы поехали назад вместе с линейкой. Володя и я, желая превзойти один другого искусством ездить верхом и молодечеством, гарцовали около нее. Тень моя была длиннее, чем прежде, и, судя по ней, я предполагал, что имею вид довольно красивого всадника; но чувство самодовольства, которое я испытывал, было скоро разрушено следующим обстоятельством. Желая окончательно прельстить всех сидевших в линейке, я отстал немного, потом, с помощью хлыста и

ног, разогнал свою лошадку, принял непринужденно-грациозное положение и хотел вихрем пронестись мимо их, с той стороны, с которой сидела Катенька. Я не знал только, что́ лучше: молча ли проскакать, или крикнуть? Но несносная лошадка, поровнявшись с упряжными, несмотря на все мои усилия, остановилась так неожиданно, что я перескочил с седла на шею и чуть-чуть не полетел.

ГЛАВА X. ЧТÓ ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ МОЙ ОТЕЦ?

Он был человек прошлого века и имел общий молодежи того века неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. На людей нынешнего века он смотрел презрительно, и взгляд этот происходил столько же от врожденной гордости, сколько от тайной досады за то, что в наш век он не мог иметь ни того влияния, ни тех успехов, которые имел в свой. Две главные страсти его в жизни были карты и женщины; он выиграл в продолжение своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий.

Большой, статный рост, странная, маленькими шажками походка, привычка подергивать плечом, маленькие, всегда улыбающиеся глазки, большой орлиный нос, неправильные губы, которые как-то неловко, но приятно складывались, недостаток в произношении — пришептывание, и большая во всю голову лысина: вот наружность моего отца, с тех пор, как я его запомню, — наружность, с которою он умел не только прослыть и

быть человеком *à bonnes fortunes*,[23] но нравиться всем без исключения — людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотел нравиться.

Он умел взять верх в отношениях со всяким. Не быв никогда человеком *очень большого света*, он всегда водился с людьми этого круга, и так, что был уважаем. Он знал ту крайнюю меру гордости и самонадеянности, которая, не оскорбляя других, возвышала его в мнении света. Он был оригинален, но не всегда, а употреблял оригинальность как средство, заменяющее в иных случаях светскость или богатство. Ничто на свете не могло возбудить в нем чувства удивления: в каком бы он ни был блестящем положении, казалось, он для него был рожден. Он так хорошо умел скрывать от других и удалять от себя известную всем темную, наполненную мелкими досадами и огорчениями, сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему. Он был знаток всех вещей, доставляющих удобства и наслаждения, и умел пользоваться ими. Конек его был блестящие связи, которые он имел частию по родству моей матери, частию по своим товарищам молодости, на которых он в

---

23 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 23
[удачливым,]

душе сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии. Он, как и все бывшие военные, не умел одеваться по модному; но зато он одевался оригинально и изящно. Всегда очень широкое и легкое платье, прекрасное белье, большие отвороченные манжеты и воротнички.... Впрочем, все шло к его большому росту, сильному сложению, лысой голове и спокойным, самоуверенным движениям. Он был чувствителен и даже слезлив. Часто, читая вслух, когда он доходил до патетического места, голос его начинал дрожать, слезы показывались, и он с досадой оставлял книгу. Он любил музыку, певал, акомпанируя себе на фортепьяно, романсы приятеля своего А...., цыганские песни и некоторые мотивы из опер; но ученой музыки не любил и, не обращая внимания на общее мнение, откровенно говорил, что сонаты Бетховена нагоняют на него сон и скуку, и что он не знает лучше ничего, как «Не будите меня молоду», как ее певала Семенова, и «Не одна», как певала цыганка Танюша. Его натура была одна из тех, которым для хорошего дела необходима публика. И то только он считал хорошим, что называла хорошим публика. Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения?

Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составлять себе их, да он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости.

В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила, — но единственно на основании практическом: те поступки и образ жизни, которые доставляли ему счастие или удовольствия, он считал хорошими и находил, что так всегда и всем поступать должно. Он говорил очень увлекательно, и эта способность, мне кажется, усиливала гибкость его правил: он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шалость и как низкую подлость.

ГЛАВА XI. ЗАНЯТИЯ В КАБИНЕТЕ И ГОСТИНОЙ.

Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Maman села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска; но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади, и синих собак, я не знал наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то и на вопрос мой: «бывают ли синие зайцы?» не поднимая головы, отвечал: «бывают, мой друг, бывают». Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца, потом нашел нужным переделать из синего зайца куст. Куст тоже мне не понравился: я сделал из него дерево, из дерева — скирд, из скирда — облако и наконец так испачкал всю бумагу синей краской, что с досады разорвал ее и пошел дремать на вольтеровское кресло.

Maman играла второй концерт Фильда — своего учителя. Я дремал, и в моем воображении

возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Maman часто играла эти две пьесы; поэтому я очень хорошо помню чувство, которое они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминания; но воспоминания чего? казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было.

Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Дверь тотчас затворилась за ними. «Ну, начались занятия!» подумал я. Мне казалось, что важнее тех дел, которые делались в кабинете, ничего в мире быть не могло; в этой мысли подтверждало меня еще то, что к дверям кабинета все подходили обыкновенно перешептываясь и на цыпочках; оттуда же был слышен громкий голос папа и запах сигары, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекал. В просонках меня вдруг поразил очень знакомый скрип сапогов в официантской. Карл Иваныч, на цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке, подошел к двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась.

«Как бы не случилось какого-нибудь несчастия — подумал я — Карл Иваныч рассержен: он на всё готов....»

Я опять задремал.

Однако, несчастия никакого не случилось; через час времени меня разбудил тот же скрип сапогов. Карл Иваныч, утирая платком слезы, которые я заметил на его щеках, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел наверх. Вслед за ним вышел папа и вошел в гостиную.

— Знаешь, что я сейчас решил? сказал он веселым голосом, положив руку на плечо maman.

— Что́, мой друг?

— Я беру Карла Иваныча с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, точно привязан; а 700 рублей в год никакого счета не делают, et puis au fond c'est un très bon diable.[24]

Я никак не мог постигнуть, зачем папа бранит Карла Иваныча.

— Я очень рада, сказала maman: — за детей, за него: он славный старик.

— Если бы ты видела, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти 500 рублей в

---

24 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 24
[и потом, в сущности, он славный малый)

виде подарка… но что забавнее всего — это счет, который он принес мне. Это сто́ит посмотреть, прибавил он с улыбкой, подавая ей записку, написанную рукою Карла Иваныча: — прелесть!

Вот содержание этой записки:

«Для детьей два удочка — 70 копек.

«Цветной бумага, золотой коемочка, клестир и болван для коробочка, в подарках — 6 р. 55 к.

«Книга и лук, подарка детьям — 8р. 16 к.

«Панталон Николаю — 4 рубли.

«Обещаны Петром Александровичь из Москву в 18.. году золотые часы в 140 рублей.

«Итого следует получить Карлу Мауеру кроме жалованию — 159 рублей 79 копек».

Прочтя эту записку, в которой Карл Иваныч требует, чтобы ему заплатили все деньги, издержанные им на подарки, и даже заплатили бы за обещанный подарок, всякий подумает, что Карл Иваныч больше ничего, как бесчувственный и корыстолюбивый себялюбец, — и всякий ошибется.

Войдя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он намеревался красноречиво изложить перед папа все несправедливости, претерпённые им в нашем доме; но когда он начал говорить тем же трогательным

голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого; так-что, дойдя до того места, в котором он говорил: «как ни грустно мне будет расстаться с детьми», он совсем сбился, голос его задрожал и он принужден был достать из кармана клетчатый платок.

— Да, Петр Александрыч, сказал он сквозь слезы (этого места совсем не было в приготовленной речи): — я так привык к детям, что не знаю, что́ буду делать без них. Лучше я без жалованья буду служить вам, прибавил он, одной рукой утирая слезы, а другой подавая счет.

Что Карл Иваныч в эту минуту говорил искренно, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце; но каким образом согласовался счет с его словами, остается для меня тайной.

— Если вам грустно, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами, сказал папа, потрепав его по плечу:—я теперь раздумал.

Не задолго перед ужином в комнату вошел Гриша. Он с самого того времени, как вошел в наш дом, не переставал вздыхать и плакать, что, по мнению тех, которые верили в его способность

предсказывать, предвещало какую нибудь беду нашему дому. Он стал прощаться и сказал, что завтра утром пойдет дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь.

— Что́?

— Если хотите посмотреть Гришины вериги, то пойдемте сейчас на мужской верх — Гриша спит во второй комнате — в чулане прекрасно можно сидеть, и мы всё увидим.

— Отлично! Подожди здесь: я позову девочек.

Девочки выбежали, и мы отправились наверх. Не без спору решив, кому первому войти в темный чулан, мы уселись и стали ждать.

ГЛАВА XII. ГРИША.

Нам всем было жутко в темноте; мы жались один к другому и ничего не говорили. Почти вслед за нами тихими шагами вошел Гриша. В одной руке он держал свой посох, в другой — сальную свечу в медном подсвечнике. Мы не переводили дыхания.

— Господи Иисусе Христе! Мати Пресвятая Богородица! Отцу и Сыну и Святому Духу.... вдыхая в себя воздух, твердил он, с различными интонациями и сокращениями, свойственными только тем, которые часто повторяют эти слова.

С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распоясав свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный нанковый зипун, тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия; напротив, он был спокоен, задумчив и даже величав. Движения его были медленны и обдуманны.

Оставшись в одном белье, он тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон, и, как видно

было, с усилием — потому что он поморщился — поправил под рубашкой вериги. Посидев немного и заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах белье, он встал, с молитвой поднял свечу в уровень с кивотом, в котором стояло несколько образов, перекрестился на них и перевернул свечу огнем вниз. Она с треском потухла.

В окна, обращенные на лес, ударяла почти полная луна. Длинная белая фигура юродивого с одной стороны была освещена бледными, серебристыми лучами месяца, с другой — черной тенью; вместе с тенями от рам, падала на пол, стены и доставала до потолка. На дворе караульщик стучал в чугунную доску.

Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться.

Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с большим одушевлением. Он начал говорить свои слова, с заметным усилием стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке,

о нас, молился о себе, просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, твердил; «Боже, прости врагам моим!» кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой, резкий звук, ударяясь о землю.

Володя ущипнул меня очень больно за ногу; но я даже не оглянулся: потер только рукой то место и продолжал, с чувством детского удивления, жалости и благоговения, следить за всеми движениями и словами Гриши.

Вместо веселия и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца.

Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: *Господи помилуй*, но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: *прости мя, Господи, научи мя что творить.... научи мя что творити, Господи!* с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания.... Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.

Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхания. Гриша не шевелился; из

груди его вырывались тяжелые вздохи; в мутном зрачке его кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза.

— Да будет воля Твоя! вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал как ребенок.

Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование; но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти.

О, великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих — ты их не поверял рассудком.... И какую высокую хвалу ты принес Его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!...

Чувство умиления, с которым я слушал Гришу, не могло долго продолжаться, во-первых потому, что любопытство мое было насыщено, а во-вторых потому, что я отсидел себе ноги, сидя на одном месте, и мне хотелось присоединиться к общему шептанью и возне, которые слышались

сзади меня в темном чулане. Кто-то взял меня за руку и шопотом сказал: чья это рука? В чулане было совершенно темно; но по одному прикосновению и голосу, который шептал мне, над самым ухом, я тотчас узнал Катеньку.

Совершенно бессознательно я схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. Катенька верно удивилась этому поступку и отдернула руку: этим движеньем она толкнула сломанный стул, стоявший в чулане. Гриша поднял голову, тихо оглянулся и, читая молитвы, стал крестить все углы. Мы с шумом и шопотом выбежали из чулана.

ГЛАВА XIII. НАТАЛЬЯ САВИШНА.

В половине прошлого столетия, по дворам села Хабаровки бегала, в затрапезном платье, босоногая, но веселая, толстая и краснощекая девка *Наташка*. По заслугам и просьбе отца ее, кларнетиста Саввы, дед мой взял ее *вверх* — находиться в числе женской прислуги бабушки. Горничная *Наташка* отличилась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на *Наташку*. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась итти к дедушке просить позволенья выйти за Фоку замуж. Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью за наказание на скотный двор в степную деревню. Через 6 месяцев однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена

в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в затрапезке из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И действительно, она сдержала свое слово.

С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной и надела чепец; весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою.

Когда подле матушки заменила ее гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Она вся жила в барском добре, во всем видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать.

Когда maman вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ее двадцатилетние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана вольная Наталье Савишне, и сказала, что, несмотря на то, будет ли она, или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать

ежегодную пенсию в 300 рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, maman, немного погодя, вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной.

— Что с вами, голубушка Наталья Савишна? спросила maman, взяв ее за руку.

— Ничего, матушка, отвечала она: — должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните.... Что́ ж, я пойду.

Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слез, хотела уйти из комнаты. Maman удержала ее, обняла, и они обе расплакались.

С тех пор, как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, ее любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, — тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее

бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов: а что́, счастлива ли она? довольна ли?

Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в ее комнатку, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь ее присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена ее комната, или записывала белье и, слушая всякий вздор, который я говорил, «как, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Иваныча из Саксонии», и т. д., она приговаривала: «да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри — как теперь помню — были наклеены: крашеное изображение какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок Володи, — вынимала из этого сундука куренье, зажигала его и, помахивая, говаривала:

— Это, батюшка, еще очаковское куренье. Когда ваш покойник дедушка — царство небесное — под турку ходили, так оттуда еще привезли,

Вот уж последний кусочек остался, прибавляла она со вздохом.

В сундуках, которыми была наполнена ее комната, было решительно всё. Что̀ бы ни понадобилось, обыкновенно говаривали: «надо спросить у Натальи Савишны», и, действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала: «вот и хорошо, что припрятала». В сундуках этих были тысячи таких предметов, о которых никто в доме, кроме ее, не знал и не заботился.

Один раз я на нее рассердился. Вот как это было. За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть.

— Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика, сказала maman.

Наталья Савишна вошла и, увидав лужу, которую я сделал, покачала головой; потом maman сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, вышла.

После обеда я, в самом веселом расположении духа, припрыгивая, отправился в залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савишна, с скатертью в руке, поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны,

начала тереть меня мокрым по лицу, приговаривая: «не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» Меня так это обидело, что я разревелся от злости.

«Как! — говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлебываясь от слез — Наталья Савишна, просто *Наталья*, говорит *мне ты*, и еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!»

Когда Наталья Савишна увидала, что я распустил слюни, она тотчас же убежала, а я, продолжая прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить дерзкой *Наталье* за нанесенное мне оскорбление.

Через несколько минут Наталья Савишна вернулась, робко подошла ко мне и начала увещевать.

— Полноте, мой батюшка, не плачьте.... простите меня дуру.... я виновата.... уж вы меня простите, мой голубчик.... вот вам.

Она вынула из-под платка корнет, сделанный из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня не доставало сил взглянуть в лицо доброй старушке; я, отвернувшись, принял подарок, и слезы потекли еще обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда.

ГЛАВА XIV. РАЗЛУКА.

На другой день после описанных мною происшествий, в двенадцатом часу утра, коляска и бричка стояли у подъезда. Николай был одет по дорожному, то есть штаны были всунуты в сапоги и старый сюртук туго-на-туго подпоясан кушаком. Он стоял в бричке и укладывал шинели и подушки под сиденье; когда оно ему казалось высоко, он садился на подушки и, припрыгивая, обминал их.

— Сделайте божескую милость, Николай Дмитрич, нельзя ли к вам будет баринову щикатулку положить, сказал запыхавшийся камердинер папа, высовываясь из коляски: — она маленькая....

— Вы бы прежде говорили, Михей Иваныч, отвечал Николай скороговоркой и с досадой, изо всех сил бросая какой-то узелок на дно брички. — Ей Богу, голова и так кругом идет, а тут еще вы с вашими щикатулками, прибавил он, приподняв фуражку и утирая с загорелого лба крупные капли пота.

Дворовые мужчины, в сюртуках, кафтанах, рубашках, без шапок, женщины, в затрапезах, по-

лосатых платках, с детьми на руках, и босоногие ребятишки стояли около крыльца, посматривали на экипажи и разговаривали между собой. Один из ямщиков — сгорбленный старик в зимней шапке и армяке — держал в руке дышло коляски, потрогивал его и глубокомысленно посматривал на ход; другой — видный молодой парень, в одной белой рубахе с красными кумачевыми ластовицами, в черной поярковой шляпе черепеником, которую он, почесывая свои белокурые кудри, сбивал то на одно, то на другое ухо — положил свой армяк на козлы, закинул туда же вожжи и, постегивая плетеным кнутиком, посматривал то на свои сапоги, то на кучеров, которые мазали бричку. Один из них, натужившись, держал подъем; другой, нагнувшись над колесом, тщательно мазал ось и втулку, — даже, чтобы не пропадал остальной на помазке деготь, мазнул им снизу по кругу. Почтовые, разномастные, разбитые лошади стояли у решетки и отмахивались от мух хвостами. Одни из них, выставляя свои косматые, оплывшие ноги, жмурили глаза и дремали; другие, от скуки, чесали друг друга или щипали листья и стебли жесткого темнозеленого папортника, который рос подле крыльца. Несколько борзых собак — одни тяжело дыша-

ли, лежа на солнце, другие в тени ходили под коляской и бричкой и вылизывали сало около осей. Во всем воздухе была какая-то пыльная мгла, горизонт был серо-лилового цвета; но ни одной тучки не было на небе. Сильный западный ветер поднимал столбами пыль с дорог и полей, гнул макушки высоких лип и берез сада и далеко относил падавшие, желтые листья. Я сидел у окна и с нетерпением ожидал окончания всех приготовлений.

Когда все собрались в гостиной около круглого стола, чтобы в последний раз провести несколько минут вместе, мне и в голову не приходило, какая грустная минута предстоит нам. Самые пустые мысли бродили в моей голове. Я задавал себе вопросы: какой ямщик поедет в бричке и какой в коляске? кто поедет с папа, кто с Карлом Иванычем? и для чего непременно хотят меня укутать в шарф и ваточную чуйку?

«Что́ я за неженка? авось не замерзну. Хоть бы поскорей это все кончилось: сесть бы и ехать».

— Кому прикажете записку о детском белье отдать? сказала вошедшая, с заплаканными глазами и с запиской в руке, Наталья Савишна, обращаясь к maman.

— Николаю отдайте, да приходите же после с

детьми проститься.

Старушка хотела что-то сказать, но вдруг остановилась, закрыла лицо платком и, махнув рукою, вышла из комнаты. У меня немного защемило в сердце, когда я увидал это движение; но нетерпение ехать было сильнее этого чувства, и я продолжал совершенно равнодушно слушать разговор отца с матушкой. Они говорили о вещах, которые заметно не интересовали ни того, ни другого: что̀ нужно купить для дома? что́ сказать княжне Sophie и Madame Julie? и хороша ли будет дорога?

Вошел Фока и точно тем же голосом, которым он докладывал «кушать готово», остановившись у притолки, сказал «лошади готовы». Я заметил, что maman вздрогнула и побледнела при этом известии, как будто оно было для нее неожиданно,

Фоке приказано было затворить все двери в комнате. Меня это очень забавляло, «как будто все спрятались от кого-нибудь».

Когда все сели, Фока тоже присел на кончике стула; но только что он это сделал, дверь скрыпнула и все оглянулись. В комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глаз, приютилась около двери на одном стуле с Фокой. Как теперь вижу я плешивую голову, морщини-

стое неподвижное лицо Фоки и сгорбленную, добрую фигурку в чепце, из-под которого виднеются седые волосы. Они жмутся на одном стуле, и им обоим неловко.

Я продолжал быть беззаботен и нетерпелив. Десять секунд, которые просидели с закрытыми дверьми, показались мне за целый час. Наконец все встали, перекрестились и стали прощаться. Папа обнял maman и несколько раз поцаловал ее.

— Полно, мой дружок, сказал папа: — ведь не на век расстаемся.

— Все-таки грустно! сказала maman дрожащим от слез голосом.

Когда я услыхал этот голос, увидал ее дрожащие губы и глаза, полные слез, я забыл про всё и мне так стало грустно, больно и страшно, что хотелось бы лучше убежать, чем прощаться с нею. Я понял в эту минуту, что, обнимая отца, она уже прощалась с нами.

Она столько раз принималась цаловать и крестить Володю, что — полагая, что она теперь обратится ко мне — я совался вперед; но она еще и еще благословляла его и прижимала к груди. Наконец, я обнял ее и, прильнув к ней, плакал, плакал, ни о чем не думая, кроме своего горя.

Когда мы пошли садиться, в передней приступила прощаться докучная дворня. Их «пожалуйте ручку-с», звучные поцалуи в плечико и запах сала от их голов возбудили во мне чувство, самое близкое к огорчению у людей раздражительных. Под влиянием этого чувства я чрезвычайно холодно поцаловал в чепец Наталью Савишну, когда она вся в слезах прощалась со мною.

Странно то, что я как теперь вижу все лица дворовых и мог бы нарисовать их со всеми мельчайшими подробностями; но лицо и положение maman решительно ускользают из моего воображения: может быть оттого, что во все это время я ни разу не мог собраться с духом взглянуть на нее. Мне казалось, что если бы я это сделал, ее и моя горесть должны бы были дойти до невозможных пределов.

Я бросился прежде всех в коляску и уселся на заднем месте. За поднятым верхом я ничего не мог видеть, но какой-то инстинкт говорил мне, что maman еще здесь.

«Посмотреть ли на нее еще, или нет?... Ну в последний раз!» сказал я сам себе и высунулся из коляски к крыльцу. В это время maman, с тою же мыслью, подошла с противоположной стороны коляски и позвала меня по имени. Услыхав

ее голос сзади себя, я повернулся к ней, но так быстро, что мы стукнулись головами; она грустно улыбнулась и крепко, крепко поцаловала меня в последний раз.

Когда мы отъехали несколько сажен, я решился взглянуть на нее. Ветер поднимал голубенькую косыночку, которою была повязана ее голова; опустив голову и закрыв лицо руками, она медленно всходила на крыльцо. Фока поддерживал ее.

Папа сидел со мной рядом и ничего не говорил; я же захлебывался от слез, и что-то так давило мне в горле, что я боялся задохнуться..... Выехав на большую дорогу, мы увидали белый платок, которым кто-то махал с балкона. Я стал махать своим, и это движение немного успокоило меня. Я продолжал плакать, и мысль, что слезы мои доказывают мою чувствительность, доставляла мне удовольствие и отраду.

Отъехав с версту, я уселся попокойнее и с упорным вниманием стал смотреть на ближайший предмет перед глазами — заднюю часть пристяжной, которая бежала с моей стороны. Смотрел я, как махала хвостом эта пегая пристяжная, как забивала она одну ногу о другую, как доставал по ней плетеный кнут ямщика и ноги начинали

прыгать вместе; смотрел, как прыгала на ней шлея и на шлее кольца, и смотрел до тех пор, покуда эта шлея покрылась около хвоста мылом. Я стал смотреть кругом: на волнующиеся поля спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелись соха, мужик, лошадь с жеребенком, на верстовые столбы, заглянул даже на козлы, чтобы узнать, какой ямщик с нами едет; и еще лицо мое не просохло от слез, как мысли мои были далеко от матери, с которой я расстался, может быть, навсегда. Но всякое воспоминание наводило меня на мысль о ней. Я вспомнил о грибе, который нашел накануне в березовой аллее, вспомнил о том, как Любочка с Катенькой поспорили — кому сорвать его, вспомнил о том, как они плакали, прощаясь с нами.

Жалко их! и Наталью Савишну жалко, и березовую аллею, и Фоку жалко! Даже злую Мими — и ту жалко. Всё, всё жалко! А бедная maman? И слезы опять навертывались на глаза; но не надолго.

ГЛАВА XV. ДЕТСТВО.

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником, лучших наслаждений.

Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своем высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Maman говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг, она сделалась вся маленькая, маленькая — лицо ее не больше пуговки; но оно мне все так же ясно видно: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она делается небольше тех мальчиков, которые бывают в зрачках; но я пошевелился — и очарование разрушилось; я съуживаю глаза, поворачиваюсь,

всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.

Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.

— Ты опять заснешь, Николенька, говорит мне maman: — ты бы лучше шел наверх.

— Я не хочу спать, мамаша, ответишь ей, и неясные, но сладкие грёзы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, в просонках, что чья-то нежная рука трогает тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко, крепко прижмешь ее к губам.

Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; maman сказала, что она сама разбудит меня; это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос :

— Вставай, моя душечка: пора итти спать.

Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее: она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче цалую ее руку.

— Вставай же, мой ангел

Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полу-темно: нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша сидит подле самого меня; она трогает меня; я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать:

— Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!

Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени.

— Так ты меня очень любишь? Она молчит с минуту, потом говорит: — смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? не забудешь, Николенька?

Она еще нежнее целует меня.

— Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! вскрикиваю я, целуя ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз, — слезы любви и восторга.

После этого, как, бывало, придешь наверх и станешь перед иконами, в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: спаси, Господи, папеньку и маменьку. Повторяя

молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство.

После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, — но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастие. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи — единственном человеке, которого я знал несчастливым — и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: «дай Бог ему счастия, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать». — Потом любимую фарфоровую игрушку — зайчика или собачку — уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал Бог счастия всем, чтобы все были довольны, и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры,

которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными побуждениями в жизни?

Где те горячие молитвы? где лучший дар — те чистые слезы умиления? Прилетал Ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грёзы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?

ГЛАВА XVI. СТИХИ.

Почти месяц после того, как мы переехали в Москву, я сидел наверху бабушкиного дома, за большим столом и писал; напротив меня сидел рисовальный учитель и окончательно поправлял нарисованную черным карандашем головку какого-то турка в чалме. Володя, вытянув шею, стоял сзади учителя и смотрел ему через плечо. Головка эта была первое произведение Володи черным карандашем и нынче же, в день ангела бабушки, должна была быть поднесена ей.

— А сюда вы не положите еще тени? сказал Володя учителю, приподнимаясь на цыпочки и указывая на шею турка.

— Нет, не нужно, сказал учитель, укладывая карандаши и рейсфедер в задвижной ящичек: — теперь прекрасно, и вы больше не прикасайтесь. Ну, а вы, Николенька, прибавил он, вставая и продолжая искоса смотреть на турка: — откройте, наконец, нам ваш секрет, что́ вы поднесете бабушке? Право, лучше было бы тоже головку. Прощайте, господа, сказал он, взял шляпу, билетик и вышел.

В эту минуту я тоже думал, что лучше бы было головку, чем то, над чем я трудился. Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки и что нам должно приготовить к этому дню подарки, мне пришло в голову написать ей стихи на этот случай, и я тотчас же прибрал два стиха с рифмами, надеясь также скоро прибрать остальные. Я решительно не помню, каким образом вошла мне в голову такая странная для ребенка мысль, но помню, что она мне очень нравилась, и что на все вопросы об этом предмете я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять.

Против моего ожидания, оказалось, что кроме двух стихов, придуманных мною сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше не мог сочинить. Я стал читать стихи, которые были в наших книгах; но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне; напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иваныч любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашел одно, русское, принадлежащее, должно быть, собственно его перу.

Г-же Л..... Петровской, 1828, 3 июни.

Помните близко,

Помните далеко,
Помните моего
Еще отнине и до всегда
Помните еще до моего гроба
Как верен я любить имею.

Карл Мауер.

Стихотворение это, написанное красивым, круглым почерком, на тонком почтовом листе, понравилось мне по трогательному чувству, которым оно проникнуто; я тотчас же выучил его наизусть и решился взять за образец. Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравление из 12 стихов было готово, и, сидя за столом, в классной, я переписывал его на веленевую бумагу.

Уже два листа бумаги были испорчены.... не потому, чтобы я думал что-нибудь переменить в них: стихи мне казались превосходными; но с третьей линейки концы их начинали загибаться кверху всё больше и больше, так что даже издалека видно было, что это написано криво и никуда не годится.

Третий лист был так же крив, как и прежние; но я решился не переписывать больше. В стихотворении своем я поздравлял бабушку, желал ей много лет здравствовать и заключал так:

Стараться будем утешать
И любим как родную мать.

Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух.

— И лю-бим, как родну-ю-мать, твердил я себе под нос. — Какую бы рифму вместо *мать*? играть? кровать?... Э, сойдет! все лучше карл-иванычевых!

И я написал последний стих. Потом в спальне я прочел вслух все свое сочинение, с чувством и жестами. Были стихи совершенно без размера, но я не останавливался на них; последний же еще сильнее и неприятнее поразил меня. Я сел на кровать и задумался....

«Зачем я написал: *как родную мать*? ее ведь здесь нет, так не нужно было и поминать ее; правда, я бабушку люблю, уважаю, но все она не то.... зачем я написал это, зачем я солгал? Положим, это стихи, да все-таки не нужно было».

В это самое время вошел портной и принес новые полуфрачки.

— Ну, так и быть! сказал я в сильном нетерпении, с досадой сунул стихи под подушку и побежал примеривать московское платье.

Московское платье оказалось превосходно: ко-

ричневые полуфрачки с бронзовыми пуговками были сшиты в обтяжку — не так, как в деревне нам шивали, на рост — черные брючки, тоже узенькие, чудо как хорошо обозначали мускулы и лежали на сапогах.

«Наконец-то и у меня панталоны со штрипками, настоящие!» мечтал я, вне себя от радости, осматривая со всех сторон свои ноги. — Хотя мне было очень узко и неловко в новом платье, я скрыл это от всех, сказал, что напротив, мне очень покойно, и что ежели есть недостаток в этом платье, так только тот, что оно немножко просторно. После этого я очень долго, стоя перед зеркалом, причесывал свою обильно напомаженную голову; но сколько ни старался, я никак не мог пригладить вихры на макушке: как только я, желая испытать их послушание, переставал прижимать их щеткой, они поднимались и торчали в разные стороны, придавая моему лицу самое смешное выражение.

Карл Иваныч одевался в другой комнате, и через классную пронесли к нему синий фрак и еще какие-то белые принадлежности. У двери, которая вела вниз, послышался голос одной из горничных бабушки; я вышел, чтобы узнать, что ей нужно. Она держала на руке туго накрахмален-

ную манишку и сказала мне, что она принесла ее для Карла Иваныча, и что ночь не спала для того, чтобы успеть вымыть ее ко времени. Я взялся передать манишку и спросил, встала ли бабушка.

— Как же-с! уж кофе откушали и протопоп пришел. — Каким вы молодчиком! прибавила она, с улыбкой, оглядывая мое новое платье.

Замечание это заставило меня покраснеть; я перевернулся на одной ножке, щелкнул пальцами и припрыгнул, желая ей этим дать почувствовать, что она еще не знает хорошенько, какой я действительно молодчик.

Когда я принес манишку Карлу Иванычу, она уже была не нужна ему: он надел другую и, перегнувшись перед маленьким зеркальцем, которое стояло на столе, держался обеими руками за пышный бант своего галстуха и пробовал, свободно ли входит в него, и обратно, его гладко выбритый подбородок. Обдернув со всех сторон наши платья и попросив Николая сделать для него то же самое, он повел нас к бабушке. Мне смешно вспомнить, как сильно пахло от нас троих помадой, в то время, как мы стали спускаться по лестнице.

У Карла Иваныча в руках была коробочка своего изделия, у Володи — рисунок, у меня — стихи;

у каждого на языке было приветствие, с которым он поднесет свой подарок. В ту минуту, как Карл Иваныч отворил дверь залы, священник надевал ризу, и раздались первые звуки молебна.

Бабушка была уже в зале: сгорбившись и опершись на спинку стула, она стояла у стенки и набожно молилась; подле нее стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся, заметив, как мы, заторопившись, прятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян.

Когда стали подходить к кресту, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой, одуревающей застенчивости, и, чувствуя, что у меня никогда недостанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Иваныча, который, в самых отборных выражениях, поздравив бабушку, переложил коробочку из правой руки в левую, вручил ее имениннице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе. Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, оклеенной золотыми каемками, и самой ласковой улыбкой выразила свою благодарность. Заметно, однако, было, что

она не знала, куда поставить эту коробочку, и, должно быть, поэтому предложила папа посмотреть, как удивительно искусно она сделана.

Удовлетворив своему любопытству, папа передал ее протопопу, которому вещица эта, казалось, чрезвычайно понравилась: он покачивал головой и с любопытством посматривал то на коробочку, то на мастера, который мог сделать такую прекрасную штуку. Володя поднес своего турка и тоже заслужил самые лестные похвалы со всех сторон. Настал и мой черед: бабушка с одобрительной улыбкой обратилась ко мне.

Те, которые испытали застенчивость, знают, что чувство это увеличивается в прямом отношении времени, а решительность уменьшается в обратном отношении, то есть: чем больше продолжается это состояние, тем делается оно непреодолимее и тем менее остается решительности.

Последняя смелость и решительность оставили меня в то время, когда Карл Иваныч и Володя подносили свои подарки, и застенчивость моя дошла до последних пределов: я чувствовал, как кровь от сердца беспрестанно приливала мне в голову, как одна краска на лице сменялась другою и как на лбу и на носу выступали крупные капли пота.

Уши горели, по всему телу я чувствовал дрожь и испарину, переминался с ноги на ногу и не трогался с места.

— Ну, покажи же, Николенька, что̀ у тебя — коробочка или рисованье? сказал мне папа. — Делать было нечего: дрожащей рукой подал я измятый, роковой сверток; но голос совершенно отказался служить мне, и я молча остановился перед бабушкой. Я не мог прийти в себя от мысли, что, вместо ожидаемого рисунка, при всех прочтут мои, никуда негодные стихи и слова: *как родную мать*, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение и когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливою, взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда, по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала? Мне казалось, что она это сделала потому, что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того,

что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет: «дрянной мальчишка, не забывай мать.... вот тебе за это!», но ничего такого не случилось; напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала: charmant![25] и поцаловала меня в лоб.

Коробочка, рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом maman, на выдвижной столик вольтеровского кресла, в котором всегда сиживала бабушка.

— Княгиня Варвара Ильинична, доложил один из двух огромных лакеев, ездивших за каретой бабушки.

Бабушка, задумавшись, смотрела на портрет, вделанный в черепаховую табакерку, и ничего не отвечала.

— Прикажете просить, ваше сиятельство? повторил лакей.

---

25 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 25
[очаровательно !]

ГЛАВА XVII. КНЯГИНЯ КОРНАКОВА.

— Проси, сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло.

Княгиня была женщина лет сорока-пяти, маленькая, тщедушная, сухая и желчная, с серо-зелеными, неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно-умильно сложенному ротику. Из-под бархатной шляпки с страусовым пером виднелись светло-рыжеватые волосы; брови и ресницы казались еще светлее и рыжеватее на нездоровом цвете ее лица. Несмотря на это, благодаря ее непринужденным движениям, крошечным рукам и особенной сухости во всех чертах, общий вид ее имел что-то благородное и энергическое.

Княгиня очень много говорила и, по своей речивости, принадлежала к тому разряду людей, которые всегда говорят так, как будто им противоречат, хотя бы никто не говорил ни слова: она то возвышала голос, то, постепенно понижая его, вдруг с новой живостью начинала говорить и оглядывалась на присутствующих, но не при-

нимающих участия в разговоре особ, как будто стараясь подкрепить себя этим взглядом.

Несмотря на то, что княгиня поцаловала руку бабушки, беспрестанно называла ее ma bonne tante,[26] я заметил, что бабушка была ею недовольна: она как-то особенно поднимала брови, слушая ее рассказ о том, почему князь Михайло никак не мог сам приехать поздравить бабушку, несмотря на сильнейшее желание; и, отвечая по-русски на французскую речь княгини, она сказала, особенно растягивая свои слова:

— Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность: — а что князь Михайло не приехал, так что́ ж про то и говорить… у него всегда дел пропасть; да и то сказать, что ему за удовольствие с старухой сидеть?

И, не давая княгине времени опровергнуть ее слова, она продолжала:

— Что̀, как ваши детки, моя милая?

— Да, слава Богу, ma tante,[27] растут, учатся, шалят… особенно Этьен — старший, такой повеса становится, что ладу никакого нет; зато и умен

---

26 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 26
[моя добрая тетушка,]

27 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 27
[тетушка,]

— un garçon, qui promet.[28] — Можете себе представить, mon cousin, продолжала она, обращаясь исключительно к папа, потому что бабушка, нисколько не интересуясь детьми княгини, а желая похвастаться своими внуками, с тщательностию достала мои стихи из-под коробочки и стала их развертывать: — можете себе представить, mon cousin, что́ он сделал на днях....

И княгиня, наклонившись к папа, начала ему рассказывать что-то с большим одушевлением. Окончив рассказ, которого я не слыхал, она тотчас засмеялась и, вопросительно глядя в лицо папа, сказала:

— Каков мальчик, mon cousin? Он стоил, чтобы его высечь; но выдумка эта так умна и забавна, что я его простила, mon cousin.

И княгиня, устремив взоры на бабушку, ничего не говоря, продолжала улыбаться.

— Разве вы *бьете* своих детей, моя милая? спросила бабушка, значительно поднимая брови и делая особенное ударение на слове *бьете*.

— Ах, ma bonne tante,[29] кинув быстрый взгляд на папа, добреньким голоском, отвечала княги-

---

28 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 28
[мальчик многообещающий.]

29 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 29
[моя добрая тетушка,]

ня; — я знаю, какого вы мнения на этот счет; но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться: сколько я ни думала, сколько ни читала, ни советовалась об этом предмете, все-таки опыт привел меня к тому, что я убедилась в необходимости действовать на детей страхом. — Чтобы что-нибудь сделать из ребенка, нужен страх.... не так ли, mon cousin? а чего, je vous demande un peu,[30] дети боятся больше, чем розги?

При этом она вопросительно взглянула на нас, и, признаюсь, мне сделалось как-то неловко в эту минуту.

— Как ни говорите, а мальчик до 12-ти и даже до 14-ти лет все еще ребенок; вот девочка — другое дело.

«Какое счастье — подумал я — что я не ее сын».

— Да, это прекрасно, моя милая, сказала бабушка, свертывая мои стихи и укладывая их под коробочку, как будто не считая после этого княгиню достойною слышать такое произведение: — это очень хорошо, только скажите мне пожалуста, каких после этого вы можете требовать деликатных чувств от ваших детей?

И, считая этот аргумент неотразимым, бабушка

---

30 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 30
[я вас спрашиваю,]

прибавила, чтобы прекратить разговор:

— Впрочем, у каждого на этот счет может быть свое мнение.

Княгиня не отвечала, но только снисходительно улыбалась, выражая этим, что она извиняет эти странные предрассудки в особе, которую так много уважает.

— Ах, да познакомьте же меня с вашими молодыми людьми, сказала она, глядя на нас и приветливо улыбаясь.

Мы встали и, устремив глаза на лицо княгини, никак не знали: что же нужно сделать, чтобы доказать, что мы познакомились.

— Поцалуйте же руку княгини, сказал папа.

— Прошу любить старую тетку, говорила она, цалуя Володю в волосы: — хотя я вам и дальняя, но я считаю по дружеским связям, а не по степеням родства, прибавила она, относясь преимущественно к бабушке; но бабушка продолжала быть недовольной ею и отвечала:

— Э! моя милая, разве нынче считается такое родство?

— Этот у меня будет светский молодой человек, сказал папа, указывая на Володю: — а этот поэт, прибавил он, в то время, как я, цалуя маленькую, сухую ручку княгини, с чрезвычайной ясностью

воображал в этой руке розгу, под розгой — скамейку, и т. д. и т. д.

— Который? спросила княгиня, удерживая меня за руку.

— А этот, маленький, с вихрами, отвечал папа, весело улыбаясь.

«Что̀ ему сделали мои вихры.... разве нет другого разговора?» подумал я и отошел в угол.

Я имел самые странные понятия о красоте — даже Карла Иваныча считал первым красавцем в мире; но очень хорошо знал, что я нехорош собою, и в этом нисколько не ошибался; поэтому каждый намек на мою наружность больно оскорблял меня.

Я очень хорошо помню, как раз за обедом — мне было тогда шесть лет — говорили о моей наружности, как maman старалась найти что-нибудь хорошее в моем лице: говорила, что у меня умные глаза, приятная улыбка, и наконец, уступая доводам отца и очевидности, принуждена была сознаться, что я дурен; и потом, когда я благодарил ее за обед, потрепала меня по щеке и сказала:

— Ты это знай, Николенька, что за твое лицо тебя никто не будет любить; поэтому ты должен стараться быть умным и добрым мальчиком.

Эти слова не только убедили меня в том, что я не красавец, но еще и в том, что я непременно буду добрым и умным мальчиком.

Несмотря на это, на меня часто находили минуты отчаяния: я воображал, что нет счастия на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я; я просил Бога сделать чудо — превратить меня в красавца, и всё, что̀ имел в настоящем, всё, что̀ мог иметь в будущем, я всё отдал бы за красивое лицо.

ГЛАВА XVIII. КНЯЗЬ ИВАН ИВАНЫЧ.

Когда княгиня выслушала стихи и осыпала сочинителя похвалами, бабушка смягчилась, стала говорить с ней по-французски, перестала называть ее *вы, моя милая*, и пригласила приехать к нам вечером со всеми детьми, на что княгиня согласилась и, посидев еще немного, уехала.

Гостей с поздравлениями приезжало так много в этот день, что на дворе, около подъезда, целое утро не переставало стоять по нескольку экипажей.

— Bonjour, chère cousine, сказал один из гостей, войдя в комнату и целуя руку бабушки.

Это был человек лет семидесяти, высокого роста, в военном мундире, с большими эполетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест, и с спокойным открытым выражением лица. Свобода и простота его движений поразили меня. Несмотря на то, что только на затылке его оставался полукруг жидких волос и что положение верхней губы ясно доказывало недостаток зубов, лицо его было еще замечатель-

ной красоты.

Князь Иван Иваныч, в конце прошлого столетия, благодаря своему благородному характеру, красивой наружности, замечательной храбрости, знатной и сильной родне и в особенности счастию, сделал, еще в очень молодых летах, блестящую карьеру. Он продолжал служить и очень скоро честолюбие его было так удовлетворено, что ему больше нечего было желать в этом отношении. С первой молодости он держал себя так, как будто готовился занять то блестящее место в свете, на которое впоследствии поставила его судьба; поэтому, хотя в его блестящей и несколько тщеславной жизни, как и во всех других, встречались неудачи, разочарования и огорчения, он ни разу не изменил ни своему всегда спокойному характеру, ни возвышенному образу мыслей, ни основным правилам религии и нравственности, и приобрел общее уважение не столько на основании своего блестящего положения, сколько на основании своей последовательности и твердости. Он был небольшого ума, но, благодаря такому положению, которое позволяло ему свысока смотреть на все тщеславные треволнения жизни, образ мыслей его был возвышенный. Он был добр и чувствителен, но холоден и несколь-

ко надменен в обращении. Это происходило оттого, что, быв поставлен в такое положение, в котором он мог быть полезен многим, своею холодностью он старался оградить себя от беспрестанных просьб и заискиваний людей, которые желали только воспользоваться его влиянием. Холодность эта смягчалась, однако, снисходительной вежливостью человека *очень большого света.* Он был хорошо образован и начитан; но образование его остановилось на том, что он приобрел в молодости, то есть в конце прошлого столетия. Он прочел все, что было написано во Франции замечательного по части философии и красноречия в XVIII веке, основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Расина, Корнеля, Боало, Мольера, Монтеня, Фенелона; имел блестящие познания в мифологии и с пользой изучал, во французских переводах, древние памятники эпической поэзии, имел достаточные познания в истории, почерпнутые им из Сегюра; но не имел никакого понятия ни о математике, дальше арифметики, ни о физике, ни о современной литературе: он мог в разговоре прилично умолчать или сказать несколько общих фраз о Гёте, Шиллере и Байроне, но никогда

не читал их. Несмотря на это французско-классическое образование, которого остается теперь уже так мало образчиков, разговор его был прост, и простота эта одинаково скрывала его незнание некоторых вещей и выказывала приятный тон и терпимость. Он был большой враг всякой оригинальности, говоря, что оригинальность есть уловка людей дурного тона. Общество было для него необходимо, где бы он ни жил; в Москве или за границей, он всегда живал одинаково открыто и в известные дни принимал у себя весь город. Он был на такой ноге в городе, что пригласительный билет от него мог служить паспортом во все гостиные, что многие молоденькие и хорошенькие дамы охотно подставляли ему свои розовенькие щечки, которые он цаловал как будто с отеческим чувством, и что иные, повидимому, очень важные и порядочные люди были в неописанной радости, когда допускались к партии князя.

Уже мало оставалось для князя таких людей, как бабушка, которые были бы с ним одного круга, одинакого воспитания, взгляда на вещи и одних лет; поэтому он особенно дорожил своей старинной, дружеской связью с нею и оказывал ей всегда большое уважение.

Я не мог наглядеться на князя: уважение, ко-

торое ему все оказывали, большие эполеты, особенная радость, которую изъявила бабушка, увидев его, и то, что он один, повидимому, не боялся ее, обращался с ней совершенно свободно и даже имел смелость называть ее ma cousine, внушили мне к нему уважение равное, если не большее, тому, которое я чувствовал к бабушке. Когда ему показали мои стихи, он подозвал меня к себе и сказал:

— Почем знать, ma cousine, может быть, это будет другой Державин.

При этом он так больно ущипнул меня за щеку, что если я не вскрикнул, так только потому, что догадался принять это за ласку.

Гости разъехались, папа и Володя вышли: в гостиной остались князь, бабушка и я.

— Отчего это наша милая Наталья Николаевна не приехала? спросил вдруг князь Иван Иваныч, после минутного молчания.

— Ah! mon cher,[31] отвечала бабушка, понизив голос и положив руку на рукав его мундира: — она верно бы приехала, если б была свободна делать, что хочет. Она пишет мне, что будто Pierre предлагал ей ехать, но что она сама отказалась,

---

31 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 31
[Ах! мой дорогой,]

потому что доходов у них, будто бы, совсем не было нынешний год; и пишет: «притом, мне и не зачем переезжать нынешний год всем домом в Москву. Любочка еще слишком мала; а насчет мальчиков, которые будут жить у вас, я еще покойнее, чем ежели бы они были со мною». — Все это прекрасно! продолжала бабушка, таким тоном, который ясно доказывал, что она вовсе не находила, чтобы это было прекрасно: — мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету; а то какое же им могли дать воспитание в деревне?... ведь старшему скоро тринадцать лет, а другому одиннадцать. Вы заметили, mon cousin, они здесь совершенно как дикие.... в комнату войти не умеют.

— Я, однако, не понимаю, отвечал князь: — отчего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств? У *него* очень хорошее состояние, а Наташину Хабаровку, в которой мы с вами, во время оно, игрывали на театре, я знаю, как свои пять пальцев — чудесное именье! и всегда должно приносить прекрасный доход.

— Я вам скажу, как истинному другу, прервала его бабушка, с грустным выражением: — мне кажется, что все это отговорки, для того только,

чтобы *ему* жить здесь одному, шляться по клубам, по обедам и Бог знает что́ делать; а она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта — она *ему* во всем верит. Он уверил ее, что детей нужно везти в Москву, а ей одной, с глупой гувернанткой, оставаться в деревне — она поверила; скажи он ей, что детей нужно сечь, так же как сечет своих княгиня Варвара Ильинична, она и тут, кажется бы, согласилась, сказала бабушка, поворачиваясь в своем кресле, с видом совершенного презрения. — Да, мой друг, продолжала бабушка, после минутного молчания, взяв в руки один из двух платков, чтобы утереть показавшуюся слезу: — я часто думаю, что *он* не может ни ценить, ни понимать ее, и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старание скрыть свое горе — я очень хорошо знаю это — она не может быть с ним счастлива ; и помяните мое слово, если он не....

Бабушка закрыла лицо платком.

— Eh! ma bonne amie,[32] сказал князь с упреком: — я вижу, вы нисколько не стали благоразумнее — вечно сокрушаетесь и плачете о воображаемом горе. Ну, как вам не совестно? я *его* давно знаю и

---

32 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 32
[Э! мой добрый друг,]

знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа и главное — за благороднейшего человека, un parfait honnête homme.[33]

Невольно подслушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты.

33 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 33
[совершенно порядочный человек.]

ГЛАВА XIX. ИВИНЫ.

— Володя! Володя! Ивины! закричал я, увидев в окно трех мальчиков, в синих бекешах с бобровыми воротниками, которые, следуя за молодым гувернёром-щеголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому.

Ивины приходились нам родственниками и были почти одних с нами лет; вскоре после приезда нашего в Москву, мы познакомились и сошлись с ними.

Второй Ивин — Сережа, был смуглый, курчавый мальчик, со вздернутым, твердым носиком, очень свежими, красными губами, которые редко совершенно закрывали немного выдавшийся верхний ряд белых зубов, темно-голубыми, прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Он никогда не улыбался, но или смотрел совершенно серьезно, или от души смеялся своим звонким, отчетливым и чрезвычайно увлекательным смехом. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастия; и одно

время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои, во сне и на яву, были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился: закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому, что ему надоедало чувствовать, беспрестанно устремленными на него, мои беспокойные глаза, или просто, не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною; но я все-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне, в не менее сильной степени, другое чувство — страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему: может быть, потому, что лицо его имело надменное выражение, или потому, что, презирая свою наружность, я слишком много ценил в других преимущества красоты, или, что́ вернее всего, потому, что это есть непременный признак любви, я чувствовал

к нему столько же страху, сколько и любви. В первый раз, как Сережа заговорил со мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастия, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему. У него была дурная привычка, когда он задумывался, останавливать глаза на одной точке и беспрестанно мигать, подергивая при этом носом и бровями. Все находили, что эта привычка очень портит его, но я находил ее до того милою, что невольно привык делать то же самое, и чрез несколько дней после моего с ним знакомства бабушка спросила: не болят ли у меня глаза, что я ими хлопаю как филин. Между нами никогда не было сказано ни слова о любви; но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях; я же, как ни желал высказать ему всё, что было у меня на душе, слишком боялся его, чтобы решиться на откровенность; старался казаться равнодушным и безропотно подчинялся ему. Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным; но выйти из-под него было не в моей власти.

Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которое так и умерло не излившись и не

найдя сочувствия.

Странно, отчего, когда я был ребенком, я старался быть похожим на большого, а с тех пор, как перестал быть им, часто желал быть похожим на него. Сколько раз это желание — не быть похожим на маленького, в моих отношениях с Сережей, останавливало чувство, готовое излиться, и заставляло лицемерить. Я не только не смел поцаловать его, чего мне иногда очень хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад его видеть, но не смел даже называть его Сережа, а непременно Сергей: так уж было заведено у нас. Каждое выражение чувствительности доказывало ребячество и то, что тот, кто позволял себе его, был еще *мальчишка.* Не пройдя еще через те горькие испытания, которые доводят взрослых до осторожности и холодности в отношениях, мы лишали себя чистых наслаждений нежной детской привязанности по одному только странному желанию подражать *большим*.

Еще в лакейской встретил я Ивиных, поздоровался с ними и опрометью пустился к бабушке: я объявил ей о том, что приехали Ивины, с таким выражением, как будто это известие должно было вполне осчастливить ее. Потом, не спуская глаз с Сережи, я последовал за ним в гостиную и

следил за всеми его движениями. В то время, как бабушка сказала, что он очень вырос, и устремила на него свои проницательные глаза, я испытывал то чувство страха и надежды, которое должен испытывать художник, ожидая приговора над своим произведением от уважаемого судьи.

Молодой гувернёр Ивиных Herr Frost, с позволения бабушки, сошел с нами в полисадник, сел на зеленую скамью, живописно сложил ноги, поставив между ними палку с бронзовым набалдашником, и с видом человека, очень довольного своими поступками, закурил сигару.

Herr Frost был немец, но немец совершенно не того покроя, как наш добрый Карл Иваныч: во-первых, он правильно говорил по-русски: с дурным выговором — по-французски, и пользовался вообще, в особенности между дамами, репутацией очень ученого человека; во-вторых, он носил рыжие усы, большую рубиновую булавку в черном атласном шарфе, концы которого были просунуты под помочи, и светло-голубые панталоны с отливом и со штрипками; в-третьих, он был молод, имел красивую, самодовольную наружность и необыкновенно видные, мускулистые ноги. Заметно было, что он особенно дорожил этим последним преимуществом: счи-

тал его действие неотразимым в отношении особ женского пола и, должно быть, с этою целью, старался выставлять свои ноги на самое видное место и, стоя, или сидя на месте, всегда приводил в движение свои икры. Это был тип молодого, русского немца, который хочет быть молодцом и волокитой.

В палисаднике было очень весело. Игра в разбойники шла как нельзя лучше; но одно обстоятельство чуть-чуть не расстроило всего. Сережа был разбойник: погнавшись за проезжающими, он споткнулся и на всем бегу ударился коленом о дерево, так сильно, что я думал, он расшибется вдребезги. Несмотря на то, что я был жандарм и моя обязанность состояла в том, чтобы ловить его, я подошел и с участием стал спрашивать, больно ли ему. Сережа рассердился на меня: сжал кулаки, топнул ногой и голосом, который ясно доказывал, что он очень больно ушибся, закричал мне:

— Ну, что это? после этого игры никакой нет! Ну, чтò ж ты меня не ловишь? чтò ж ты меня не ловишь? повторял он несколько раз, искоса поглядывая на Володю и старшего Ивина, которые, представляя проезжающих, припрыгивая, бежали по дорожке, и вдруг взвизгнул и с громким

смехом бросился ловить их.

Не могу передать, как поразил и пленил меня этот геройский поступок: несмотря на страшную боль, он не только не заплакал, но не показал и виду, что ему больно, и ни на минуту не забыл игры.

Вскоре после этого, когда к нашей компании присоединился еще Илинька Грап, и мы до обеда отправились наверх, Сережа имел случай еще более пленить и поразить меня своим удивительным мужеством и твердостью характера.

Илинька Грап был сын бедного иностранца, который когда-то жил у моего деда, был чем-то ему обязан и почитал теперь своим непременным долгом присылать, очень часто, к нам своего сына. Если он полагал, что знакомство с нами может доставить его сыну какую-нибудь честь или удовольствие, то он совершенно ошибался в этом отношении, потому что мы не только не были дружны с Илинькой, но обращали на него внимание только тогда, когда хотели посмеяться над ним. Илинька Грап был мальчик лет тринадцати, худой, высокий, бледный, с птичьей рожицей и добродушно-покорным выражением. Он был очень бедно одет, но зато всегда напомажен так обильно, что мы уверяли, будто у Грапа,

в солнечный день, помада тает на голове и течет под курточку. Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что он был очень услужливый, тихий и добрый мальчик; тогда же он мне казался таким презренным существом, о котором не стоило ни жалеть, ни даже думать.

Когда игра в разбойники прекратилась, мы пошли на верх, начали *возиться* и щеголять друг перед другом разными гимнастическими штуками. Илинька с робкой улыбкой удивления поглядывал на нас, и когда ему предлагали попробовать то же, отказывался, говоря, что у него совсем нет силы. Сережа был удивительно мил; он снял курточку — лицо и глаза его разгорелись — он беспрестанно хохотал и затеивал новые шалости: перепрыгивал через три стула, поставленные рядом, через всю комнату перекатывался колесом, становился кверху ногами на лексиконы Татищева, положенные им, в виде пьедестала, на середину комнаты, и при этом выделывал ногами такие уморительные штуки, что невозможно было удержаться от смеха. После этой последней штуки он задумался, помигал глазами и вдруг, с совершенно серьезным лицом, подошел к Илиньке: «попробуйте сделать это; право это нетрудно». Грап, заметив, что общее

внимание обращено на него, покраснел и чуть слышным голосом уверял, что он никак не может этого сделать.

— Да что̀ ж в самом деле, отчего он ничего не хочет показать? Что̀ он за девочка.... непременно надо, чтобы он стал на голову!

И Сережа взял его за руку.

— Непременно, непременно на голову! закричали мы все, обступив Илиньку, который в эту минуту заметно испугался и побледнел, схватили его за руку и повлекли к лексиконам.

— Пустите меня, я сам! курточку разорвете! кричала несчастная жертва. — Но эти крики отчаяния еще более воодушевляли нас; мы помирали со смеху; зеленая курточка трещала на всех швах.

Володя и старший Ивин нагнули ему голову и поставили ее на лексиконы; я и Сережа схватили бедного мальчика за тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засучили ему панталоны до колен и, с громким смехом, вскинули их кверху; младший Ивин поддерживал равновесие всего туловища.

Случилось так, что после шумного смеха мы, вдруг, все замолчали и в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжелое дыхание

несчастного Грапа. В эту минуту я не совсем был убежден, что всё это очень смешно и весело.

— Вот теперь молодец, сказал Сережа, хлопнув его рукою.

Илинька молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в разные стороны. Одним из таких отчаянных движений он ударил каблуком по глазу Сережу так больно, что Сережа тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого потекли невольные слезы, и из всех сил толкнул Илиньку. Илинька, не будучи более поддерживаем нами, как что-то безжизненное грохнулся на землю и от слез мог только выговорить:

— За что́ вы меня тираните?

Плачевная фигура бедного Илиньки, с заплаканным лицом, взъерошенными волосами и засученными панталонами, из-под которых видны были нечищенные голенищи, поразила нас; мы все молчали и старались принужденно улыбаться.

Первый опомнился Сережа.

— Вот баба, нюня, сказал он, слегка трогая его ногою: с ним шутить нельзя.... Ну, полно, вставайте.

— Я вам сказал, что ты негодный мальчишка, злобно выговорил Илинька и, отвернувшись

прочь, громко зарыдал.

— А-а! каблуками бить да еще браниться! закричал Сережа, схватив в руки лексикон и взмахнув над головою несчастного, который и не думал защищаться, а только закрывал руками голову.

— Вот тебе! вот тебе!... Бросим его, коли он шуток не понимает.... Пойдемте вниз, сказал Сережа, неестественно засмеявшись.

Я с участием посмотрел на бедняжку, который, лежа на полу и спрятав лицо в лексиконах, плакал так, что, казалось, еще немного, и он умрет от конвульсий, которые дергали все его тело.

— Э, Сережа! сказал я ему: — зачем ты это сделал?

— Вот хорошо!... я не заплакал, надеюсь, сегодня, как разбил себе ногу почти до кости.

«Да, это правда — подумал я — Илинька больше ничего, как плакса, а вот Сережа — так это молодец... чтò это за молодец!... »

Я не сообразил того, что бедняжка плакал верно не столько от физической боли, сколько от той мысли, что пять мальчиков, которые, может быть, нравились ему, без всякой причины, все согласились ненавидеть и гнать его.

Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему,

не защитил и не утешил его? Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галченка, или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа?

Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Сереже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желание казаться молодцом! они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний.

ГЛАВА XX. СОБИРАЮТСЯ ГОСТИ.

Судя по особенной хлопотливости, заметной в буфете, по яркому освещению, придававшему какой-то новый, праздничный вид всем уже мне давно знакомым предметам в гостиной и зале, и, в особенности, судя потому, что не даром же прислал князь Иван Иваныч свою музыку, ожидалось немалое количество гостей к вечеру.

При шуме каждого мимо ехавшего экипажа я подбегал к окну, приставлял ладони к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу. Из мрака, который сперва скрывал все предметы в окне, показывались понемногу: напротив — давно знакомая лавочка, с фонарем, наискось — большой дом, с двумя внизу освещенными окнами, по средине улицы — какой-нибудь *Ванька*, с двумя седоками, или пустая коляска, шагом возвращающаяся домой; но вот к крыльцу подъехала карета, и я, в полной уверенности, что это Ивины, которые обещались приехать рано, бегу встречать их в переднюю. Вместо Ивиных, за ливрейной рукой, отворившей дверь, показались две особы женского пола: одна — большая

в синем салопе, с собольим воротником, другая — маленькая, вся закутанная в зеленую шаль, из-под которой виднелись только маленькие ножки в меховых ботинках. Не обращая на мое присутствие в передней никакого внимания, хотя я счел долгом, при появлении этих особ, поклониться им, маленькая молча подошла к большой и остановилась перед нею. Большая размотала платок, закрывавший всю голову маленькой, расстегнула на ней салоп, и когда ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с нее меховые ботинки, из закутанной особы вышла чудесная двенадцатилетняя девочка, в коротеньком, открытом кисейном платьице, белых панталончиках и крошечных черных башмачках. На беленькой шейке была черная бархатная ленточка; головка вся была в темно-русых кудрях, которые спереди так хорошо шли к ее прекрасному личику, а сзади — к голым плечикам, что никому, даже самому Карлу Иванычу, я не поверил бы, что они вьются так оттого, что с утра были завернуты в кусочки Московских Ведомостей, и что их прижигали горячими железными щипцами. Казалось, она так и родилась с этой курчавой головкой.

Поразительной чертой в ее лице была необык-

новенная величина выпуклых, полузакрытых глаз, которые составляли странный, но приятный контраст с крошечным ротиком. Губки были сложены, а глаза смотрели так серьезно, что общее выражение ее лица было такое, от которого не ожидаешь улыбки, и улыбка которого бывает тем обворожительнее.

Стараясь быть незамеченным, я шмыгнул в дверь залы и почел нужным прохаживаться взад и вперед, притворившись, что нахожусь в задумчивости и совсем не знаю о том, что приехали гости. Когда гости вышли на половину залы, я как будто опомнился, расшаркался и объявил им, что бабушка в гостиной. Г-жа Валахина, лицо которой мне очень понравилось, в особенности потому, что я нашел в нем большое сходство с лицом ее дочери Сонечки, благосклонно кивнула мне головой.

Бабушка, казалось, была очень рада видеть Сонечку: подозвала ее ближе к себе, поправила на голове ее одну буклю, которая спадывала на лоб, и, пристально всматриваясь в ее лицо, сказала: «quelle charmante enfant!»[34] Сонечка улыбнулась, покраснела и сделалась так мила, что я тоже

34 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 34
[какой очаровательный ребенок!]

покраснел, глядя на нее.

— Надеюсь, ты не будешь скучать у меня, мой дружок, сказала бабушка, приподняв ее личико за подбородок: — прошу же веселиться и танцовать как можно больше. — Вот уж и есть одна дама и два кавалера, прибавила она, обращаясь к г-же Валахиной и дотрогиваясь до меня рукою.

Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть еще раз.

Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. В передней нашел я княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были на одно лицо — похожи на княгиню и дурны; поэтому ни одна не останавливала внимания. Снимая салопы и хвосты, они все вдруг говорили тоненькими голосками, суетились и смеялись чему-то — должно быть, тому, что их было так много. Этьен был мальчик лет пятнадцати, высокий, мясистый, с испитой физиономией, впалыми, посинелыми внизу глазами и с огромными по летам руками и ногами; он был неуклюж, имел голос неприятный и неровный, но казался очень довольным собою и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого

секут розгами.

Мы довольно долго стояли друг против друга и, не говоря ни слова, внимательно всматривались; потом, пододвинувшись поближе, кажется, хотели поцаловаться, но, посмотрев еще в глаза друг другу, почему-то раздумали. Когда платья всех сестер его прошумели мимо нас, чтобы чем-нибудь начать разговор, я спросил, не тесно ли им было в карете.

— Не знаю, отвечал он мне небрежно: — я ведь никогда не езжу в карете, потому что, как только я сяду, меня сейчас начинает тошнить, и маменька это знает. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы — гораздо веселей — все видно, Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру. Этак проезжающих, знаете, иногда, прибавил он, с выразительным жестом: — прекрасно!

— Ваше сиятельство, сказал лакей, входя в переднюю: — Филипп спрашивает: куда вы кнут изволили деть?

— Как куда дел? да я ему отдал.

— Он говорит, что не отдавали.

— Ну, так на фонарь повесил.

— Филипп говорит, что и на фонаре нет, а вы скажите лучше, что взяли да потеряли, а Филипп будет из своих денежек отвечать за ваше

баловство, продолжал, все более и более воодушевляясь, раздосадованный лакей.

Лакей, который с виду был человек почтенный и угрюмый, казалось, горячо принимал сторону Филиппа и был намерен, во что бы то ни стало, разъяснить это дело. По невольному чувству деликатности, как будто ничего не замечая, я отошел в сторону; но присутствующие лакеи поступили совсем иначе: они подступили ближе, с одобрением посматривая на старого слугу.

— Ну, потерял, так потерял, сказал Этьен, уклоняясь от дальнейших объяснений: — что стоит ему кнут, так я и заплачу. — Вот уморительно! прибавил он, подходя ко мне и увлекая меня в гостиную.

— Нет, позвольте, барин, чем-то вы заплатите? знаю я, как вы платите: Марье Васильевне вот уж вы восьмой месяц двугривенный все платите, мне тоже уж, кажется, второй год, Петрушке....

— Замолчишь ли ты! крикнул молодой князь, побледнев от злости: — вот я все это скажу.

— Все скажу, все скажу! проговорил лакей. — Нехорошо, ваше сиятельство! прибавил он особенно выразительно в то время, как мы входили в залу, и пошел с салопами к ларю.

— Вот так, так! послышался за нами чей-то

одобрительный голос в передней.

Бабушка имела особенный дар, прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица, высказывать свое мнение о людях. Хотя она употребляла *вы* и *ты* наоборот общепринятому обычаю, в ее устах, эти оттенки принимали совсем другое значение. Когда молодой князь подошел к ней, она сказала ему несколько слов, называя его *вы*, и взглянула на него с выражением такого пренебрежения, что если бы я был на его месте, я растерялся бы совершенно; но Этьен был, как видно, мальчик не такого *сложения*: он не только не обратил никакого внимания на прием бабушки, но даже и на всю ее особу, а раскланялся всему обществу, если не ловко, то совершенно развязно. Сонечка занимала все мое внимание: я помню, что когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого видна была Сонечка и она могла видеть и слышать нас, я говорил с удовольствием; когда мне случалось сказать, по моим понятиям, смешное или молодецкое словцо, я произносил его громче и оглядывался на дверь в гостиную; когда же мы перешли на другое место, с которого нас нельзя было ни слышать, ни видеть из гостиной, я мол-

чал и не находил больше никакого удовольствия в разговоре.

Гостиная и зала понемногу наполнялись гостями; в числе их, как и всегда бывает на детских вечерах, было несколько больших детей, которые не хотели пропустить случая повеселиться и потанцовать, как будто для того только, чтобы сделать удовольствие хозяйке дома.

Когда приехали Ивины, вместо удовольствия, которое я обыкновенно испытывал при встрече с Сережей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку и покажется ей.

ГЛАВА XXI. ДО МАЗУРКИ.

— Э! да у вас, видно, будут танцы, сказал Сережа, выходя из гостиной и доставая из кармана новую пару лайковых перчаток: — надо перчатки надевать.

«Как же быть? а у нас перчаток-то нет — подумал я — надо пойти наверх — поискать».

Но хотя я перерыл все комоды, я нашел только в одном — наши дорожные зеленые рукавицы, а в другом — одну лайковую перчатку, которая никак не могла годиться мне: во-первых, потому, что была чрезвычайно стара и грязна, во-вторых, потому, что была для меня слишком велика, а главное потому, что на ней недоставало среднего пальца, отрезанного, должно быть, еще очень давно, Карлом Иванычем, для больной руки. Я надел, однако, на руку этот остаток перчатки и пристально рассматривал то место среднего пальца, которое всегда было замарано чернилами.

— Вот если бы здесь была Наталья Савишна: у нее верно бы нашлись и перчатки. Вниз итти нельзя в таком виде, потому, что если меня

спросят, отчего я не танцую, что мне сказать? и здесь оставаться тоже нельзя, потому, что меня непременно хватятся. Что мне делать? говорил я, размахивая руками.

— Что ты здесь делаешь? сказал вбежавший Володя: — иди ангажируй даму.... сейчас начнется.

— Володя, сказал я ему, показывая руку, с двумя просунутыми в грязную перчатку пальцами, голосом, выражавшим положение, близкое к отчаянию: — Володя, ты и не подумал об этом?

— О чем? сказал он с нетерпением. — А! о перчатках, прибавил он, совершенно равнодушно, заметив мою руку: — и точно нет; надо спросить у бабушки.... что̀ она скажет? и, нимало не задумавшись, побежал вниз.

Хладнокровие, с которым он отзывался об обстоятельстве, казавшемся мне столь важным, успокоило меня, и я поспешил в гостиную, совершенно позабыв об уродливой перчатке, которая была надета на моей левой руке.

Осторожно подойдя к креслу бабушки и слегка дотрогиваясь до ее мантии, я шопотом сказал ей:

— Бабушка! что́ нам делать? у нас перчаток нет!

— Что, мой друг?

— У нас перчаток нет, повторил я, подвигаясь

ближе и ближе и положив обе руки на ручку кресел.

— А это что, сказала она, вдруг схватив меня за левую руку. Voyez, ma chère,[35] продолжала она, обращаясь к г-же Валахиной: — voyez comme ce jeune homme s'est fait élégant pour danser avec votre fille.[36]

Бабушка крепко держала меня за руку и серьезно, но вопросительно посматривала на присутствующих, до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено, и смех сделался общим.

Я был бы очень огорчен, если бы Сережа видел меняв то время, как я, сморщившись от стыда, напрасно пытался вырвать свою руку, но перед Сонечкой, которая до того расхохоталась, что слезы навернулись ей на глаза и все кудряшки распрыгались около ее раскрасневшегося личика, мне нисколько не было совестно. Я понял, что смех ее был слишком громок и естествен, чтоб быть насмешливым; напротив, то, что мы посмеялись вместе и глядя друг на друга, как будто

---

35 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 35

[Посмотрите, моя дорогая,]

36 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 36

[посмотрите, каким элегантным сделал себя этот молодой человек, чтобы танцовать с вашей дочерью.]

сблизило меня с нею. Эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принес мне ту пользу, что поставил меня на свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным — в кругу гостиной; я не чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале.

Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, которое о них составили; как только мнение это ясно выражено — какое бы оно ни было — страдание прекращается.

Что это как мила была Сонечка Валахина, когда она против меня танцовала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем! Как мило она улыбалась, когда в «chaîne»[37] подавала мне ручку! как мило, в такт прыгали на головке ее русые кудри, и как наивно делала она «jeté-assemblé»[38] своими крошечными ножками! В пятой фигуре, когда моя дама перебежала от меня на другую сторону и когда я, выжидая такт, приготовлялся делать соло, Сонечка серьезно сложила губки и стала смотреть в сторону. Но напрасно она за меня боялась: я смело сделал

---

37 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 37
[Шэн, жетэ-ассамбле — фигуры в танце.]

38 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 38
[Шэн, жетэ-ассамбле — фигуры в танце.]

chassé en avant, chassé en arrière, glissade[39] и, в то время, как подходил к ней, игривым движением показал ей перчатку с двумя торчавшими пальцами. Она расхохоталась ужасно и еще милее засеменила ножками по паркету. Еще помню я, как, когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носик о свою перчатку. Все это как теперь перед моими глазами, и еще слышится мне кадриль из «Девы Дуная», под звуки которой все это происходило.

Наступила, и вторая кадриль, которую я танцовал с Сонечкой. Усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить. Когда молчание мое сделалось слишком продолжительно, я стал бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, и решился, во что бы то ни стало, вывести ее из такого заблуждения на мой счет. «Vous êtes une habitante de Moscou?[40] сказал я ей и после утвердительного ответа, продолжал: et moi, je n'ai

---

39 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 39
[Шассэ-ан-аван, шассэ-ан-арьер, глисад– фигуры в танце.]

40 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 40
[Вы постоянно живете в Москве?]

encore jamais fréquenté la capitale,[41] рассчитывая в особенности на эффект слова «fréquenter».[42] Я чувствовал, однако, что, хотя это начало было очень блестяще и вполне доказывало мое высокое знание французского языка, продолжать разговор в таком духе я не в состоянии. Еще не скоро должен был прийти наш черед танцовать, а молчание возобновилось: я с беспокойством посматривал на нее, желая знать, какое произвел впечатление, и ожидая от нее помощи. «Где вы нашли такую уморительную перчатку? » спросила она меня вдруг; и этот вопрос доставил мне большое удовольствие и облегчение. Я объяснил, что перчатка принадлежала Карлу Иванычу, распространился, даже несколько иронически, о самой особе Карла Иваныча, о том, какой он бывает смешной, когда снимает красную шапочку, и о том, как он раз в зеленой бекеше упал с лошади — прямо в лужу, и т. п. Кадриль прошла незаметно. Все это было очень хорошо; но зачем я с насмешкой отзывался о Карле Иваныче? Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал ей его с теми любовью и уважением,

---

41 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 41
[а я еще никогда не посещал столицы,]

42 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 42
[посещать.]

которые я к нему чувствовал?

Когда кадриль кончилась, Сонечка сказала мне «mercі» с таким милым выражением, как будто я действительно заслужил ее благодарность. Я был в восторге, не помнил себя от радости и сам не мог узнать себя: откуда взялись у меня смелость, уверенность и даже дерзость? «Нет вещи, которая бы могла меня сконфузить! — думал я, беззаботно разгуливая по зале — я готов на всё!»

Сережа предложил мне быть с ним vis-à-vis. «Хорошо, сказал я: — хотя у меня нет дамы, я найду». Окинув залу решительным взглядом, я заметил, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить ее; он был от нее в двух шагах, я же — на противоположном конце залы. В мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел я всё разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку, а молодой человек остался без дамы.

Я имел такое сознание своей силы, что даже не обратил внимания на досаду молодого человека; но после узнал, что молодой человек этот спра-

шивал, кто тот взъерошенный мальчик, который проскочил мимо его и перед носом отнял даму.

ГЛАВА XXII. МАЗУРКА.

Молодой человек, у которого я отбил даму, танцовал мазурку в первой паре. Он вскочил с своего места, держа даму за руку, и вместо того, чтобы делать «pas de Basques»,[43] которым нас учила Мими, просто побежал вперед; добежав до угла, приостановился, раздвинул ноги, стукнул каблуком, повернулся и, припрыгивая, побежал дальше.

Так как дамы на мазурку у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал.

«Что же он это делает? — рассуждал я сам с собою. — Ведь это вовсе не то, чему учила нас Мими: она уверяла, что мазурку все танцуют на цыпочках, плавно и кругообразно разводя ногами; а выходит, что танцуют совсем не так. Вон и Ивины, и Этьен, и все танцуют, а «pas de Basques» не делают; и Володя наш перенял новую манеру. Недурно!... А Сонечка-то какая милочка?! вон она пошла.... » Мне было чрезвычайно весело.

Мазурка клонилась к концу: несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с

---

43 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 43
[Па-де-баск — старинное па мазурки,]

бабушкой и уезжали; лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты; бабушка заметно устала, говорила как бы нехотя и очень протяжно; музыканты в тридцатый раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцовал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись — должно быть, желая тем угодить бабушке — подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжен. «Rose ou hortie?»[44] сказала она мне.

— А, ты здесь! сказала, поворачиваясь в своем кресле, бабушка: — иди же, мой дружок, иди.

Хотя мне в эту минуту больше хотелось спрятаться с головой под кресло бабушки, чем выходить из-за него, как было отказаться? — я встал, сказал «rose»[45] и робко взглянул на Сонечку. Не успел я опомниться, как чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать с своими ногами.

Я знал, что «pas de Basques» не уместны, неприличны и даже могут совершенно осрамить меня;

---

44 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 44
[Роза или крапива?]

45 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 45
[роза]

но знакомые звуки мазурки, действуя на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые, в свою очередь, передали это движение ногам; и эти последние, совершенно невольно и к удивлению всех зрителей, стали выделывать фатальные, круглые и плавные па на цыпочках. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как, но на повороте я заметил, что если не приму своих мер, непременно уйду вперед. Во избежание такой неприятности, я приостановился, с намерением сделать то самое *коленцо*, которое так красиво делал молодой человек в первой паре. Но в ту самую минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо обегая вокруг меня, с выражением тупого любопытства и удивления посмотрела на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что, вместо того, чтобы танцовать, затопотал ногами на месте, самым странным, ни с тактом, ни с чем несообразным образом, и наконец совершенно остановился. Все смотрели на меня: кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто с состраданием; одна бабушка смотрела совершенно равнодушно.

— Il ne fallait pas danser, si vous ne savez pas![46] сказал сердитый голос папа над моим ухом, и, слегка оттолкнув меня, он взял руку моей дамы, прошел с ней тур по старинному, при громком одобрении зрителей, и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась.

— Господи! за что ты наказываешь меня так ужасно!

Все презирают меня и всегда будут презирать.... мне закрыта дорога ко всему: к дружбе, любви, почестям.... все пропало!! Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? зачем Сонечка.... она милочка; но зачем она улыбалась в это время? зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? О, это ужасно! Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку.... И мое воображение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспоминал луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые, прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена, и еще много

---

46 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 46
[Не нужно было танцовать, если не умеешь!]

спокойных радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении.

ГЛАВА XXIII.ПОСЛЕ МАЗУРКИ.

За ужином молодой человек, танцовавший в первой паре, сел за наш, детский, стол и обращал на меня особенное внимание, что немало польстило бы моему самолюбию, если бы я мог, после случившегося со мной несчастия, чувствовать что-нибудь. Но молодой человек, как кажется, хотел, во что бы то ни стало, развеселить меня: он заигрывал со мной, называл меня молодцом и, как только никто из больших не смотрел на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать. К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского из завернутой в салфетку бутылки и когда молодой человек настоял на том, чтобы он налил мне полный, и заставил меня его выпить залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приязнь к моему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался.

Вдруг раздались из залы звуки гросфатера и стали вставать из-за стола. Дружба наша с молодым человеком тотчас же и кончилась: он ушел к

большим, а я, не смея следовать за ним, подошел, с любопытством, прислушиваться к тому, что говорила Валахина с дочерью.

— Еще полчасика, убедительно говорила Сонечка.

— Право, нельзя, мой ангел.

— Ну для меня, пожалуйста, говорила она, ласкаясь.

— Ну разве тебе весело будет если я завтра буду больна? сказала г-жа Валахина и имела неосторожность улыбнуться.

— А, позволила! останемся? заговорила Сонечка, прыгая от радости.

— Что с тобой делать? Иди же, танцуй… вот тебе и кавалер, сказала она, указывая на меня.

Сонечка подала мне руку, и мы побежали в залу

Выпитое вино, присутствие и веселость Сонечки заставили меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выделывал ногами самые забавные штуки: то подражая лошади бежал маленькой рысцой, гордо поднимая ноги, то топотал ими на месте, как баран, который сердится на собаку, при этом хохотал от души и нисколько не заботился о том, какое впечатление произвожу на зрителей. Сонечка

тоже не переставала смеяться: она смеялась тому, что мы кружились, взявшись рука за руку, хохотала, глядя на какого-то старого барина, который, медленно поднимая ноги, перешагнул через платок, показывая вид, что ему было очень трудно это сделать, и помирала со смеху, когда я вспрыгивал чуть не до потолка, чтобы показать свою ловкость.

Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало: лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше чем когда-нибудь; но общее выражение лица было такое веселое, доброе и здоровое, что я сам себе понравился.

«Если бы я был всегда такой, как теперь — подумал я — я бы еще мог понравиться».

Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нем было, кроме того выражения веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моем, столько изящной и нежной красоты, что мне сделалось досадно на самого себя, я понял, как глупо *мне* надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания.

Я не мог надеяться на взаимность, да и не думал о ней: душа моя и без того была преисполнена счастием. Я не понимал, что за чувство любви,

наполнявшее мою душу отрадой, можно было бы требовать еще большего счастия и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо. Сердце билось как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать.

Когда мы проходили по коридору, мимо темного чулана под лестницей, я взглянул на него и подумал: что бы это было за счастие, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане! и чтобы никто не знал, что мы там живем.

— Не правда ли, что нынче очень весело? сказал я тихим дрожащим голосом, и прибавил шагу, испугавшись не столько того, что сказал, сколько того, что намерен был сказать.

— Да.... очень! отвечала она, обратив ко мне головку, с таким откровенно-добрым выражением, что я перестал бояться.

— Особенно после ужина.... Но если бы вы знали, как мне жалко (я хотел сказать грустно, но не посмел), что вы скоро уедете и мы больше не увидимся.

— Отчего ж не увидимся? сказала она, пристально всматриваясь в кончики своих башмачков и проводя пальчиком по решетчатым ширмам,

мимо которых мы проходили: — каждый вторник и пятницу мы с мамашей ездим на Тверской. Вы разве не ходите гулять?

— Непременно будем проситься во вторник, и если меня не пустят, я один убегу — без шапки. Я дорогу знаю.

— Знаете что? сказала вдруг Сонечка: — я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю *ты*; давайте и с вами говорить *ты*. Хочешь? прибавила она, встряхнув головкой и взглянув мне прямо в глаза.

В это время мы входили в залу, и начиналась другая, живая часть гросфатера. Давай.... те, сказал я в то время, когда музыка и шум могли заглушить мои слова.

— Давай *ты*, а не давайте, поправила Сонечка и засмеялась.

Гросфатер кончился, а я не успел сказать ни одной фразы с *ты*, хотя не переставал придумывать такие, в которых местоимение это повторялось бы несколько раз. У меня недоставало на это смелости. «Хочешь?» «давай-ты» звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение: я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видел я, как подобрали ее локоны, заложили их за уши и открыли части лба и висков, которых я не видал

еще; видел я, как укутали ее в зеленую шаль, так плотно, что виднелся только кончик ее носика; заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно бы задохнулась, и видел, как она, спускаясь с лестницы за своею матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью.

Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку и, стоя на лестнице, провожали ее глазами. Кому в особенности кивнула она головкой, я не знаю; но в ту минуту я твердо был убежден, что это сделано было для меня.

Прощаясь с Ивиными, я очень свободно, даже несколько холодно поговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, он верно пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным.

Я в первый раз в жизни изменил в любви и в первый раз испытал сладость этого чувства. Мне было отрадно переменить изношенное чувство привычной преданности на свежее чувство любви, исполненной таинственности и неизвестности. Сверх того, в одно и то же время разлюбить и полюбить значит полюбить вдвое сильнее, чем

прежде.

ГЛАВА XXIV. В ПОСТЕЛИ.

„Как мог я так страстно и так долго любить Сережу? — рассуждал я, лежа в постели. — Нет! он никогда не понимал, не умел ценить и не стоил моей любви.... а Сонечка? что это за прелесть! «Хочешь? » «тебе начинать»“

Я вскочил на четвереньки, живо представляя себе ее личико, закрыл голову одеялом, подвернул его под себя со всех сторон и, когда нигде не осталось отверстий, улегся и, ощущая приятную теплоту, погрузился в сладкие мечты и воспоминания.

Устремив неподвижные взоры в подкладку стеганого одеяла, я видел ее так же ясно, как час тому назад; я мысленно разговаривал с нею, и разговор этот, хотя не имел ровно никакого смысла, доставлял мне неописанное наслаждение, потому что *ты, тебе, с тобой, твои* встречались в нем беспрестанно.

Мечты эти были так ясны, что я не мог заснуть от сладостного волнения, и мне хотелось поделиться с кем-нибудь избытком своего счастия.

— Милочка! сказал я почти вслух, круто пово-

рачиваясь на другой бок. — Володя! ты спишь?

— Нет, отвечал он мне сонным голосом:, — а что?

— Я влюблен, Володя! решительно влюблен в Сонечку.

— Ну, так что ж? отвечал он мне потягиваясь.

— Ах, Володя! ты не можешь себе представить, что со мной делается.... вот я сейчас лежал увернувшись под одеялом и так ясно, так ясно, видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно. И еще знаешь ли что? когда я лежу и думаю о ней, Бог знает отчего, делается грустно и ужасно хочется плакать.

Володя пошевелился.

— Только одного я бы желал, продолжал я: — это —чтобы всегда с ней быть, всегда ее видеть, и больше ничего. А ты влюблен? признайся, по правде, Володя.

Странно, что мне хотелось, чтобы все были влюблены в Сонечку, и чтобы все рассказывали это.

— Тебе какое дело? сказал Володя, поворачиваясь ко мне лицом: — может быть.

— Ты не хочешь спать, ты притворялся! закричал я, заметив по его блестящим глазам, что он нисколько не думал о сне, и откинул одеяло. —

Давай лучше толковать о ней. Не правда ли, что прелесть?... такая прелесть, что скажи она мне: «Николаша! выпрыгни в окно, или бросься в огонь», ну, вот, клянусь! сказал я: — сейчас прыгну, и с радостью. Ах, какая прелесть! прибавил я, живо воображая ее перед собою, и, чтобы вполне наслаждаться этим образом, порывисто перевернулся на другой бок и засунул голову под подушки. — Ужасно хочется плакать, Володя.

— Вот дурак! сказал он, улыбаясь и потом помолчав немного: — я так совсем не так, как ты: я думаю, что если бы можно было, я сначала хотел бы сидеть с ней рядом и разговаривать....

— А! так ты тоже влюблен? перебил я его.

— Потом, продолжал Володя, нежно улыбаясь: — потом, расцаловал бы ее пальчики, глазки, губки, носик, ножки — всю бы расцаловал....

— Глупости! закричал я из-под подушек.

— Ты ничего не понимаешь, презрительно сказал Володя.

— Нет, я понимаю, а вот ты не понимаешь и говоришь глупости, сказал я сквозь слезы.

— Только плакать-то уж незачем. Настоящая девочка!

ГЛАВА XXV. ПИСЬМО.

16 апреля, почти шесть месяцев после описанного мною дня, отец вошел к нам наверх, во время классов, и объявил, что нынче в ночь мы едем с ним в деревню. Что-то защемило у меня в сердце при этом известии, и мысль моя тотчас же обратилась к матушке.

Причиною такого неожиданного отъезда было следующее письмо:

Петровское. 12 апреля.

«Сейчас только, в десять часов вечера, получила я твое доброе письмо, от 3 апреля, и, по моей всегдашней привычке, отвечаю тотчас же. Федор привез его еще вчера из города, но так как было поздно, он подал его Мими нынче утром. Мими же, под предлогом, что я была нездорова и расстроена, не давала мне его целый день. У меня точно был маленький жар и, признаться тебе по правде, вот уж четвертый день, что я не так-то здорова и не встаю с постели.

«Пожалуста не пугайся, милый друг: я чувствую себя довольно хорошо, и если Иван Васильич позволит, завтра думаю встать.

«В пятницу на прошлой неделе, я поехала с детьми кататься; но подле самого выезда на большую дорогу, около того мостика, который всегда наводил на меня ужас, лошади завязли в грязи. День был прекрасный, и мне вздумалось пройтись пешком до большой дороги, покуда вытаскивали коляску. Дойдя до часовни, я очень устала и села отдохнуть, а так как, покуда собирались люди, чтоб вытащить экипаж, прошло около получаса, мне стало холодно, особенно ногам, потому что на мне были ботинки на тонких подошвах, и я их промочила. После обеда я почувствовала озноб и жар, но, по заведенному порядку, продолжала ходить, а после чаю села играть с Любочкой в четыре руки. (Ты не узнаешь ее: такие она сделала успехи!) Но представь себе мое удивление, когда я заметила, что не могу счесть такта. Несколько раз я принималась считать, но все в голове у меня решительно путалось, и я чувствовала странный шум в ушах. Я считала: раз, два, три, потом вдруг: восемь, пятнадцать, и главное — видела, что вру, и никак не могла поправиться. Наконец Мими пришла мне на помощь и почти насильно уложила в постель. Вот тебе, мой друг, подробный отчет в том, как я занемогла и как сама в том виновата. На другой

день у меня был жар довольно сильный и приехал наш добрый, старый Иван Васильич, который до сих пор живет у нас и обещается скоро выпустить меня на свет Божий. Чудесный старик этот Иван Васильич! Когда у меня был жар и бред, он целую ночь, не смыкая глаз, просидел около моей постели, теперь же, так как знает, что я пишу, сидит с девочками в диванной, и мне слышно из спальни, как им рассказывает немецкие сказки, и как они, слушая его, помирают со смеху.

«La belle Flamande,[47] как ты называешь ее, гостит у меня уже вторую неделю, потому что мать ее уехала куда-то в гости, и своими попечениями доказывает самую искреннюю привязанность. Она поверяет мне все свои сердечные тайны. С ее прекрасным лицом, добрым сердцем и молодостью из нее могла бы выйти во всех отношениях прекрасная девушка, если б она была в хороших руках; но в том обществе, в котором она живет, судя по ее рассказам, она совершенно погибнет. Мне приходило в голову, что если бы у меня не было так много своих детей, я бы хорошее дело сделала, взяв ее.

«Любочка сама хотела писать тебе, но изорва-

---

47 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 47
[Красавица фламандка,]

ла уже третий лист бумаги и говорит: «я знаю, какой папа насмешник: если сделать хоть одну ошибочку, он всем покажет». Катенька все также мила, Мими также добра и скучна.

«Теперь поговорим о серьезном: ты мне пишешь, что дела твои идут нехорошо эту зиму, и что тебе необходимо будет взять хабаровские деньги. Мне даже странно, что ты спрашиваешь на это моего согласия. Разве то, что принадлежит мне, не принадлежит столько же и тебе?

«Ты так добр, милый друг, что из страха огорчить меня скрываешь настоящее положение своих дел; но я догадываюсь, верно ты проиграл очень много, и нисколько, божусь тебе, не огорчаюсь этим; поэтому, если только дело это можно поправить, пожалуйста много не думай о нем и не мучь себя напрасно. Я привыкла не только не расчитывать для детей на твой выигрыш, но извини меня, даже и на все твое состояние. Меня также мало радует твой выигрыш, как огорчает проигрыш; меня огорчает только твоя несчастная страсть к игре, которая отнимает у меня часть твоей нежной привязанности и заставляет говорить тебе такие горькие истины, как теперь, а Богу известно, как мне это больно! Я не перестаю молить Его об одном, чтобы Он избавил нас.... не

от бедности (что бедность?), а от того ужасного положения, когда интересы детей, которые я должна буду защищать, придут в столкновение с нашими. До сих пор Господь исполнял мою молитву: ты не переходил одной черты, после которой мы должны будем или жертвовать состоянием, которое принадлежит уже не нам, а нашим детям, или.... и подумать страшно, а ужасное несчастие это всегда угрожает нам. Да, это тяжелый крест, который послал нам обоим Господь!

«Ты пишешь мне еще о детях и возвращаешься к нашему давнишнему спору: просишь меня согласиться на то, чтобы отдать их в учебное заведение. Ты знаешь мое предубеждение против такого воспитания....

«Не знаю, милый друг, согласишься ли ты со мною; но во всяком случае умоляю тебя, из любви ко мне, дать мне обещание, что покуда я жива и после моей смерти, если Богу угодно будет разлучить нас, этого никогда не будет.

«Ты мне пишешь, что тебе необходимо будет съездить в Петербург по нашим делам. Христос с тобой, мой дружок, поезжай и возвращайся поскорее. Нам всем без тебя так скучно! Весна чудо как хороша: балконную дверь уж выставили,

дорожка к оранжерее, четыре дня тому назад, была совершенно суха, персики во всем цвету, кой-где только остался снег, ласточки прилетели, и нынче Любочка принесла мне первые весенние цветы. Доктор говорит, что дня через три я буду совсем здорова и мне можно будет подышать свежим воздухом и погреться на апрельском солнышке. Прощай же, милый друг, не беспокойся, пожалуста, ни о моей болезни, ни о своем проигрыше; кончай скорей дела и приезжай к нам с детьми на целое лето. Я делаю чудные планы о том, как мы проведем его, и недостает только тебя, чтобы им осуществиться».

Следующая часть письма была написана по-французски, связным и неровным почерком, на другом клочке бумаги. Я перевожу его слово в слово:

«Не верь тому, что я писала тебе о моей болезни; никто не подозревает, до какой степени она серьезна. Я одно знаю, что мне больше не вставать с постели. Не теряй ни одной минуты, приезжай сейчас же и привози детей. Может быть, я успею еще раз обнять тебя и благословить их: это мое одно последнее желание. Я знаю, какой ужасный удар наношу тебе; но все равно, рано или поздно, от меня или от других, ты получил бы

его; постараемся же с твердостию и надеждою на милосердие Божие перенести это несчастие. Покоримся воле Его.

«Не думай, чтобы то, что́ я пишу, было бредом больного воображения; напротив, мысли мои чрезвычайно ясны в эту минуту, и я совершенно спокойна. Не утешай же себя напрасно надеждой, что бы это были ложные, неясные предчувствия боязливой души. Нет, я чувствую, я знаю — и знаю потому, что Богу было угодно открыть мне это — мне осталось жить очень недолго.

«Кончится ли вместе с жизнию моя любовь к тебе и детям? Я поняла, что это невозможно. Я слишком сильно чувствую в эту минуту, чтобы думать, что то чувство, без которого я не могу понять существования, могло бы когда-нибудь уничтожиться. Душа моя не может существовать без любви к вам: а я знаю, что она будет существовать вечно, уже по одному тому, что такое чувство, как моя любовь, не могло бы возникнуть, если бы оно должно было когда-нибудь прекратиться.

«Меня не будет с вами; но я твердо уверена, что любовь моя никогда не оставит вас, и эта мысль так отрадна для моего сердца, что я спокойно и без страха ожидаю приближающейся смерти.

«Я спокойна, и Богу известно, что всегда смотрела и смотрю на смерть как на переход к жизни лучшей; но отчего ж слезы давят меня?… Зачем лишать детей любимой матери? Зачем наносить тебе такой тяжелый, неожиданный удар? Зачем мне умирать, когда ваша любовь делала для меня жизнь беспредельно счастливою?

«Да будет Его святая воля.

«Я не могу писать больше от слез. Может быть, я не увижу тебя. Благодарю же тебя, мой бесценный друг, за все счастие, которым ты окружил меня в этой жизни; я там буду просить Бога, чтобы Он наградил тебя. Прощай, милый друг; помни, что меня не будет, но любовь моя никогда и нигде не оставит тебя. Прощай, Володя, прощай, мой ангел, прощай, Веньямин — мой Николенька.

«Неужели они когда-нибудь забудут меня?!»

В этом письме была вложена французская записочка Мими, следующего содержания:

«Печальные предчувствия, о которых она говорит вам, слишком подтвердились словами доктора. Вчера ночью она велела отправить это письмо тотчас на почту. Думая, что она сказала это в бреду, я ждала до сегоднешнего утра, и решилась его распечатать. Только что я распечатала, как Наталья Николаевна спросила меня,

что я сделала с письмом, и приказала мне сжечь его, если оно не отправлено. Она все говорит о нем и уверяет, что оно должно убить вас. Не откладывайте вашей поездки, если вы хотите видеть этого ангела, покуда еще он не оставил нас. Извините это маранье. Я не спала три ночи. Вы знаете, как я люблю ее!»

Наталья Савишна, которая всю ночь 11 апреля провела в спальне матушки, рассказывала мне, что, написав первую часть письма, maman положила его подле себя на столик и започивала.

— Я сама, говорила Наталья Савишна: — признаюсь, задремала на кресле и чулок вывалился у меня из рук. Только слышу я сквозь сон — часу этак в первом — что она как будто разговаривает; я открыла глаза, смотрю: она, моя голубушка, сидит на постели, сложила вот этак ручки, а слезы в три ручья так и текут. «Так все кончено?» только она и сказала и закрыла лицо руками.

Я вскочила, стала спрашивать: что с вами?

— Ах, Наталья Савишна, если бы вы знали, кого я сейчас видела.

Сколько я ни спрашивала, больше она мне ничего не сказала, только приказала подать столик, пописала еще что-то, при себе приказала запечатать письмо и сейчас же отправить. После уж все

пошло хуже да хуже.

ГЛАВА XXVI. ЧТО ОЖИДАЛО НАС В ДЕРЕВНЕ.

18 апреля мы выходили из дорожной коляски, у крыльца Петровского дома. Выезжая из Москвы, папа был задумчив, и когда Володя спросил у него: не больна ли maman? он с грустию посмотрел на него и молча кивнул головой. Во время путешествия он заметно успокоился; но, по мере приближения к дому, лицо его все более и более принимало печальное выражение, и когда, выходя из коляски, он спросил у выбежавшего, запыхавшегося Фоки: «где Наталья Николаевна?» голос его был нетверд и в глазах были слезы. Добрый старик Фока, украдкой взглянув на нас, опустил глаза и, отворяя дверь в переднюю, отвернувшись, отвечал:

— Шестой день уж не изволят выходить из спальни.

Милка, которая, как я после узнал, с самого того дня, в который занемогла maman, не переставала жалобно выть, весело бросилась к отцу — прыгала на него, взвизгивала, лизала его руки; но он оттолкнул ее и прошел в гостиную,

оттуда в диванную, из которой дверь вела прямо в спальню. Чем ближе подходил он к этой комнате, тем более, по всем телодвижениям, было заметно его беспокойство; войдя в диванную, он шел на цыпочках, едва переводил дыхание и перекрестился прежде, чем решился взяться за замок затворенной двери. В это время из коридора выбежала нечесаная, заплаканная Мими. «Ах! Петр Александрыч!» сказала она шопотом, с выражением истинного отчаяния, и потом, заметив, что папа поворачивает ручку замка, она прибавила чуть слышно: «здесь нельзя пройти — ход из девичьей».

О, как тяжело все это действовало на мое настроенное к горю страшным предчувствием детское воображение!

Мы пошли в девичью: в коридоре попался нам на дороге дурачек Аким, который всегда забавлял нас своими гримасами; но в эту минуту не только он мне не казался смешным, но ничто так больно не поразило меня, как вид его бессмысленно-равнодушного лица. В девичьей две девушки, которые сидели за какой-то работой, привстали, чтобы поклониться нам с таким печальным выражением, что мне сделалось страшно. Пройдя еще комнату Мими, папа отворил дверь спальни,

и мы вошли. Направо от двери были два окна, завешенные платками; у одного из них сидела Наталья Савишна, с очками на носу, и вязала чулок. Она не стала цаловать нас, как то обыкновенно делывала, а только привстала, посмотрела на нас через очки, и слезы потекли у нее градом. Мне очень не понравилось, что все при первом взгляде на нас начинают плакать, тогда как прежде были совершенно спокойны.

Налево от двери стояли ширмы, за ширмами — кровать, столик, шкапчик, уставленный лекарствами, и большое кресло, на котором дремал доктор; подле кровати стояла молодая, очень белокурая, замечательной красоты девушка, в белом утреннем капоте, и, немного засучив рукава, прикладывала лед к голове maman, которую мне не было видно в эту минуту. Девушка эта была *la belle Flamande*,[48] про которую писала maman и которая, впоследствии, играла такую важную роль в жизни всего нашего семейства. Как только мы вошли, она отняла одну руку от головы maman и поправила на груди складки своего капота, потом шопотом сказала: «в забытьи».

Я был в сильном горе в эту минуту, но неволь-

---

48 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 48
[красавица фламандка,]

но замечал все мелочи. В комнате было почти темно, жарко и пахло вместе мятой, одеколоном, ромашкой и гофманскими каплями. Запах этот так поразил меня, что не только когда я слышу его, но когда лишь вспоминаю о нем, воображение мгновенно переносит меня в эту мрачную, душную комнату и воспроизводит все мельчайшие подробности ужасной минуты.

Глаза maman были открыты, но она ничего не видела.... О, никогда не забуду я этого страшного взгляда! В нем выражалось столько страдания!....

Нас увели.

Когда я потом спрашивал у Натальи Савишны о последних минутах матушки, вот что́ она мне сказала:

— Когда вас увели, она еще долго металась, моя голубушка, точно вот здесь ее давило что-то; потом спустила головку с подушек и задремала, так тихо, спокойно, точно ангел небесный. Только я вышла посмотреть, что̀ питье не несут — прихожу, а уж она, моя сердечная, всё вокруг себя раскидала и всё манит к себе вашего папеньку; тот нагнется к ней, а уж сил, видно, недостает сказать что̀ хотелось: только откроет губки и опять начнет охать. «Боже мой! Господи! Детей! детей!» Я хотела было за вами бежать, да Иван

Васильич остановил, говорит: это хуже встревожит ее, лучше не надо. После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что́ она этим хотела, Бог ее знает. Я так думаю, что это она вас заочно благословляла; да видно не привел ее Господь (перед последним концом) взглянуть на своих деточек. Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот так ручки и вдруг заговорила, да таким голосом, что я и вспомнить не могу — «Матерь Божия, не оставь их!....» Тут уж боль подступила ей под самое сердце, по глазам видно было, что ужасно мучилась бедняжка; упала на подушки, ухватилась зубами за простыню; а слезы-то, мой батюшка, так и текут.

— Ну, а потом? спросил я.

Наталья Савишна не могла больше говорить: она отвернулась и горько заплакала.

Maman скончалась в ужасных страданиях.

ГЛАВА XXVII. ГОРЕ.

На другой день, поздно вечером мне захотелось еще раз взглянуть на нее: преодолев невольное чувство страха, я тихо отворил дверь и на цыпочках вошел в залу.

По средине комнаты, на столе, стоял гроб, вокруг него нагоревшие свечи, в высоких, серебряных подсвечниках; в дальнем углу сидел дьячок и тихим, однообразным голосом читал Псалтырь.

Я остановился у двери и стал смотреть; но глаза мои были так заплаканы и нервы так расстроены, что я ничего не мог разобрать; все как-то странно сливалось вместе; свет, парча, бархат, большие подсвечники, розовая, обшитая кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное, воскового цвета. Я стал на стул, чтобы рассмотреть ее лицо; но на том месте, где оно находилось, мне опять представился тот же бледно-желтоватый, прозрачный предмет. Я не мог верить, чтобы это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-по-малу стал узнавать в нем знакомые, милые черты.

Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; но отчего закрытые глаза так впали? отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей? отчего выражение всего лица так строго и холодно? отчего губы так бледны и склад их так прекрасен, так величествен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него?....

Я смотрел и чувствовал, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне картины, цветущие жизнью и счастьем. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало предо мною и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была *она*. Я воображал ее то в том, то в другом положении: живою, веселою, улыбающеюся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в бледном лице, на котором остановились мои глаза: я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли действительность, и снова сознание действительности разрушало мечты. Наконец, воображение устало, оно перестало

обманывать меня; сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся. Не знаю, сколько времени пробыл я в этом положении, не знаю, в чем состояло оно; знаю только то, что на время я потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение.

Может быть, отлетая к миру лучшему, ее прекрасная душа с грустью оглянулась на тот, в котором она оставляла нас; она увидела мою печаль, сжалилась над нею и на крыльях любви, с небесною улыбкою сожаления, спустилась на землю, чтобы утешить и благословить меня.

Дверь скрипнула и в комнату вошел дьячок на смену. Этот шум разбудил меня, и первая мысль, которая пришла мне, была та, что так как я не плачу и стою на стуле в позе, не имеющей ничего трогательного, дьячок может принять меня за бесчувственного мальчика, который из жалости или любопытства забрался на стул: я перекрестился, поклонился и заплакал.

Вспоминая теперь свои впечатления, я нахожу, что только одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения, я не переставал плакать и был грустен, но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней

всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чепцом Мими и лицами присутствующих. Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать все другие; от этого печаль моя была неискренна и неестественна. Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив, старался возбуждать сознание несчастия, и это эгоистическое чувство больше других заглушало во мне истинную печаль.

Проспав эту ночь крепко и спокойно, как всегда бывает после сильного огорчения, я проснулся с высохнувшими слезами и успокоившимися нервами. В десять часов нас позвали к панихиде, которую служили перед выносом. Комната была наполнена дворовыми и крестьянами, которые, все в слезах, пришли проститься с своей барыней. Во время службы я прилично плакал, крестился и кланялся в землю, но не молился в душе и был довольно хладнокровен; заботился о том, что новый полуфрачек, который на меня надели, очень жал мне подмышками, думал о том, как

бы не запачкать слишком панталон на коленях, и украдкою делал наблюдения над всеми присутствовавшими. Отец стоял у изголовья гроба, был бледен как платок и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура, в черном фраке, бледное, выразительное лицо и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда он крестился, кланялся, доставая рукою землю, брал свечу из рук священника или подходил ко гробу, были чрезвычайно эффектны; но, не знаю почему, мне не нравилось в нем именно то, что он мог казаться таким эффектным в эту минуту. Мими стояла прислонившись к стене и, казалось, едва держалась на ногах; платье на ней было измято и в пуху, чепец сбит на сторону; опухшие глаза были красны, голова ее тряслась; она не переставала рыдать раздирающим душу голосом и беспрестанно закрывала лицо платком и руками. Мне казалось, что она это делала для того, чтобы, закрыв лицо от зрителей, на минуту отдохнуть от притворных рыданий. Я вспомнил, как накануне она говорила отцу, что смерть maman для нее такой ужасный удар, которого она никак не надеется перенести, что она лишила ее всего, что этот ангел (так она называла maman) перед самою смертью не забыл ее и изъявлял желание

обеспечить навсегда будущность ее и Катеньки. Она проливала горькие слезы, рассказывая это, и, может быть, чувство горести ее было истинно, но оно не было чисто и исключительно. Любочка, в черном платьице, обшитом плерезами, вся мокрая от слез, опустила головку, изредка взглядывала на гроб, и лицо ее выражало при этом только детский страх. Катенька стояла подле матери и, несмотря на ее вытянутое личико, была такая же розовенькая, как и всегда. Откровенная натура Володи была откровенна и в горести: он, то стоял задумавшись, уставив неподвижные взоры на какой-нибудь предмет, то рот его вдруг начинал кривиться, и он поспешно крестился и кланялся. Все посторонние, бывшие на похоронах, были мне несносны. Утешительные фразы, которые они говорили отцу — что ей там будет лучше, что она была не для этого мира — возбуждали во мне какую-то досаду.

Какое они имели право говорить и плакать о ней? Некоторые из них, говоря про нас, называли нас *сиротами*. Точно без них не знали, что детей, у которых нет матери, называют этим именем! Им верно нравилось, что они первые дают нам его, точно так же, как обыкновенно торопятся только что вышедшую замуж девушку в первый

раз назвать Madame.

В дальнем углу залы, почти спрятавшись за отворенной дверью буфета, стояла на коленях сгорбленная, седая старушка. Соединив руки и подняв глаза к небу, она не плакала, но молилась. Душа ее стремилась к Богу, она просила Его соединить ее с тою, кого она любила больше всего на свете, и твердо надеялась, что это будет скоро.

«Вот кто истинно любил ее!» подумал я, и мне стало стыдно за самого себя.

Панихида кончилась; лицо покойницы было открыто, и все присутствующие, исключая нас, один за другим стали подходить к гробу и прикладываться.

Одна из последних подошла проститься с покойницей какая-то крестьянка, с хорошенькой пятилетней девочкой на руках, которую, Бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; но только что я нагнулся, меня поразил страшный пронзительный крик, исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лет, я никогда его не забуду, и, когда вспомню, всегда пробежит холодная дрожь по моему телу. Я поднял голову — на табурете, подле гроба, стояла та же крестьянка и с трудом удерживала удер-

живала в руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойной, кричала страшным, неистовым голосом.

Я вскрикнул голосом, который, я думаю, был еще ужаснее того, который поразил меня, и выбежал из комнаты.

Только в эту минуту я понял, отчего происходил тот сильный, тяжелый запах, который, смешиваясь с запахом ладана, наполнял комнату; и мысль, что то лицо, которое за несколько дней было исполнено красоты и нежности, лицо той, которую я любил больше всего на свете, могло возбуждать ужас, как будто в первый раз открыла мне горькую истину и наполнила душу отчаянием.

ГЛАВА XXVIII.ПОСЛЕДНИЕ ГРУСТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ.

Maman уже не было, а жизнь наша шла всё тем же чередом: мы ложились и вставали в те же часы и в тех же комнатах; утренний, вечерний чай, обед, ужин, — все было в обыкновенное время; столы, стулья стояли на тех же местах; ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось; только ее не было....

Мне казалось, что после такого несчастия всё должно бы было измениться; наш обыкновенный образ жизни казался мне оскорблением ее памяти и слишком живо напоминал ее отсутствие.

Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать, и я пошел в комнату Натальи Савишны, расчитывая поместиться на ее постели, на мягком пуховике, под теплым стеганым одеялом. Когда я вошел, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала; услыхав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова, и, поправляя чепец, уселась на край

кровати.

Так как еще прежде довольно часто случалось, что после обеда я приходил спать в ее комнату, она догадалась, зачем я пришел, и сказала мне, приподнимаясь с постели:

— Что́? верно отдохнуть пришли, мой голубчик? ложитесь.

— Что вы, Наталья Савишна? сказал я, удерживая ее за руку: — я совсем не за этим.... я так пришел.... да вы и сами устали: лучше ложитесь вы.

— Нет, батюшка, я уж выспалась, сказала она мне (я знал, что она не спала трое суток). Да и не до сна теперь, прибавила она с глубоким вздохом.

Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастии; я знал ее искренность и любовь, и потому поплакать с нею было бы для меня отрадой.

— Наталья Савишна, сказал я, помолчав немного и усаживаясь на постель: — ожидали ли вы этого?

Старушка посмотрела на меня с недоумением и любопытством, должно быть, не понимая, для чего я спрашиваю у нее это.

— Кто мог ожидать этого? повторил я.

— Ах, мой батюшка, сказала она, кинув на меня

взгляд самого нежного сострадания: — не то, чтобы ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Ну уж мне, старухе, давно бы пора сложить старые кости на покой; а то вот до чего довелось дожить: старого барина — вашего дедушку, вечная память, князя Николая Михайловича, двух братьев, сестру Аннушку, всех схоронила и все моложе меня были, мой батюшка, а вот теперь, видно, за грехи мои и ее пришлось пережить. Его святая воля! Он затем и взял ее, что она достойна была, а Ему добрых и там нужно.

Эта простая мысль отрадно поразила меня, и я ближе придвинулся к Наталье Савишне. Она сложила руки на груди и взглянула кверху; впалые влажные глаза ее выражали великую, но спокойную печаль. Она твердо надеялась, что Бог не надолго разлучил ее с тою, на которой столько лет была сосредоточена вся сила ее любви.

— Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала и она меня Нашей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнет цаловать и приговаривать:

— Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя.

А я, бывало, пошучу — говорю:

— Неправда, матушка, вы меня не любите; вот

дай только выростите большие, выдете замуж и Нашу свою забудете. — Она, бывало, задумается. Нет, говорит, я лучше замуж не пойду, если нельзя Нашу с собой взять; я Нашу никогда не покину. А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница! Да кого она и не любила, правду сказать! Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя; это не человек был, а ангел небесный. Когда ее душа будет в царствии небесном, она и там будет вас любить и там будет на вас радоваться.

— Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в царствии небесном? спросил я: — ведь она, я думаю, и теперь уже там.

— Нет, батюшка, сказала Наталья Савишна, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на постели: — теперь ее душа здесь.

И она указывала вверх. Она говорила почти шопотом и с таким чувством и убеждением, что я невольно поднял глаза кверху, смотрел на карнизы и искал чего-то. «Прежде чем душа праведника в рай идет — она еще сорок мытарств проходит, мой батюшка, сорок дней и может еще в своем доме быть....»

Долго еще говорила она в том же роде и говорила с такою простотою и уверенностью, как

будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видала и насчет которых никому в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал ее, притаив дыхание, и, хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно.

— Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на нас, слушает, может быть, что мы говорим, заключила Наталья Савишна.

И, опустив голову, замолчала. Ей понадобился платок, чтобы отереть падавшие слезы; она встала, взглянула мне прямо в лицо и сказала дрожащим от волнения голосом:

— На много ступеней подвинул меня этим к себе Господь. — Что мне теперь здесь осталось? для кого мне жить? кого любить?

— А нас разве вы не любите? сказал я, с упреком и едва удерживаясь от слез.

— Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков, но уж так любить, как я ее любила, никого не любила, да и не могу любить.

Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и громко зарыдала.

Я не думал уже спать; мы молча сидели друг против друга и плакали.

В комнату вошел Фока; заметив наше положе-

ние и, должно быть, не желая тревожить нас, он, молча и робко поглядывая, остановился у дверей.

— Зачем ты, Фокаша? спросила Наталья Савишна, утираясь платком.

— Изюму полтора, сахару четыре фунта и сарачинского пшена три фунта для кутьи-с.

— Сейчас, сейчас, батюшка, сказала Наталья Савишна, торопливо понюхала табаку и скорыми шажками пошла к сундуку. Последние следы печали, произведенной нашим разговором, исчезли, когда она принялась за свою обязанность, которую считала весьма важною.

— На что четыре фунта? говорила она ворчливо, доставая и отвешивая сахар на безмене: — и три с половиною довольно будет.

И она сняла с весков несколько кусочков.

— А это на что похоже, что вчера только восемь фунтов пшена отпустила, опять спрашивают: — ты как хочешь, Фока Демидыч, а я пшена не отпущу. Этот Ванька рад, что теперь суматоха в доме: он думает, авось не заметят. Нет, я потачки за барское добро не дам. Ну виданое ли это дело — восемь фунтов?

— Как же быть-с? он говорит, все вышло.

— Ну, на, возьми, на! пусть возьмет!

Меня поразил тогда этот переход от трогательного чувства, с которым она со мной говорила, к ворчливости и мелочным расчетам. Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то, что у нее делалось в душе, у нее доставало довольно присутствия духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным занятиям. Горе так сильно подействовало на нее, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами; она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль.

Тщеславие есть чувство самое несообразное с истинною горестью, и вместе с тем чувство это так крепко привито к натуре человека, что очень редко даже самое сильное горе изгоняет его. Тщеславие в горести выражается желанием казаться или огорченным, или несчастным, или твердым; и эти низкие желания, в которых мы не признаемся, но которые почти никогда — даже в самой сильной печали — не оставляют нас, лишают ее силы, достоинства и искренности. Наталья же Савишна была так глубоко поражена своим несчастием, что в душе ее не оставалось ни одного желания, и она жила только по привычке.

Выдав Фоке требуемую провизию и напомнив

ему о пироге, который надо было приготовить для угощения причта, она отпустила его, взяла чулок и опять села подле меня.

Разговор начался про то же, и мы еще раз поплакали и еще раз утерли слезы.

Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день; ее тихие слезы и спокойные набожные речи доставляли мне отраду и облегчение.

Но скоро нас разлучили: через три дня после похорон мы всем домом приехали в Москву, и мне суждено было никогда больше не видать ее.

Бабушка получила ужасную весть только с нашим приездом, и горесть ее была необыкновенна. Нас не пускали к ней, потому что она целую неделю была в беспамятстве, доктора боялись за ее жизнь, тем более, что она не только не хотела принимать никакого лекарства, но ни с кем не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Иногда, сидя одна в комнате, на своем кресле, она вдруг начинала смеяться, потом рыдать без слез, с ней делались конвульсии, и она кричала неистовым голосом бессмысленные или ужасные слова. Это было первое сильное горе, которое поразило ее, и это горе привело ее в отчаяние. Ей нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастии, и она говорила страшные слова, грозила

кому-то с необыкновенной силой, вскакивала с кресел, скорыми, большими шагами ходила по комнате и потом падала без чувств.

Один раз я вошел в ее комнату: она сидела, по обыкновению, на своем кресле и, казалось, была спокойна; но меня поразил ее взгляд. Глаза ее были очень открыты, но взор неопределенен и туп: она смотрела прямо на меня, но, должно быть, не видала. Губы ее начали медленно улыбаться, и она заговорила трогательным, нежным голосом: «поди сюда, мой дружок, подойди, мой ангел». Я думал, что она обращается ко мне, и подошел ближе, но она смотрела не на меня. «Ах, коли бы ты знала, душа моя, как я мучилась и как теперь рада, что ты приехала....» Я понял, что она воображала видеть maman, и остановился. «А мне сказали, что тебя нет — продолжала она, нахмурившись — вот вздор! Разве ты можешь умереть прежде меня?» и она захохотала страшным истерическим хохотом.

Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения; но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучее природы физической. Горе никогда не убивает.

Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первою мыслию ее, когда она пришла в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась. Мы не отходили от ее кресла; она тихо плакала, говорила про maman и нежно ласкала нас.

В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, чтобы она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны; но не знаю почему, я больше сочувствовал Наталье Савишне, и до сих пор убежден, что никто так искренно и чисто не любил и не сожалел о maman, как это простодушное и любящее созданье.

Со смертью матери окончилась для меня счастливая пора детства и началась новая эпоха — эпоха отрочества; но так как воспоминания о Наталье Савишне, которую я больше не видал, и которая имела такое сильное и благое влияние на мое направление и развитие чувствительности, принадлежит к первой эпохе, скажу еще несколько слов о ней и ее смерти.

После нашего отъезда, как мне потом рассказывали люди, остававшиеся в деревне, она очень скучала от безделья. Хотя все сундуки были еще на ее руках, и она не переставала рыться в них, перекладывать, развешивать, раскладывать; но

ей недоставало шуму и суетливости барского, обитаемого господами, деревенского дома, к которым она с детства привыкла. Горе, перемена образа жизни и отсутствие хлопот скоро развили в ней старческую болезнь, к которой она имела склонность. Ровно через год после кончины матушки, у нее открылась водяная, и она слегла в постель.

Тяжело, я думаю, было Наталье Савишне жить и еще тяжелее умирать одной, в большом пустом Петровском доме, без родных, без друзей. Все в доме любили и уважали Наталью Савишну; но она ни с кем не имела дружбы и гордилась этим. Она полагала, что в ее положении — экономки, пользующейся доверенностью своих господ и имеющей на руках столько сундуков со всяким добром, дружба с кем-нибудь непременно повела бы ее к лицеприятию и преступной снисходительности; поэтому, или, может быть, потому, что не имела ничего общего с другими слугами, она удалялась всех и говорила, что у нее в доме нет ни кумовьев, ни сватов, и что за барское добро она никому потачки не даст.

Поверяя Богу в теплой молитве свои чувства, она искала и находила утешение; но иногда в минуты слабости, которым мы все подвержены,

когда лучшее утешение для человека доставляют слезы и участие живого существа, она клала себе на постель свою собачонку моську (которая лизала ее руки, уставив на нее свои желтые глаза), говорила с ней и тихо плакала, лаская ее. Когда моська начинала жалобно выть, она старалась успокоить ее и говорила: «полно, я и без тебя знаю, что скоро умру».

За месяц до своей смерти она достала из своего сундука белого коленкору, белой кисеи и розовых лент; с помощью своей девушки сшила себе белое платье, чепчик и до малейших подробностей распорядилась всем, что́ нужно было для ее похорон. Она тоже разобрала барские сундуки и с величайшей отчетливостью, по описи, передала их приказчице: потом достала два шелковые платья, старинную шаль, подаренные ей когда-то бабушкой, дедушкин военный мундир, шитый золотом, тоже отданный ей в полную собственность. Благодаря ее заботливости, шитье и галуны на мундире были совершенно свежи, и сукно не тронуто молью.

Перед кончиной, она изъявила желание, чтобы одно из этих платий — розовое — было отдано Володе на халат или бешмет, другое —пюсовое, в клетках — мне, для того же употребления; а шаль

— Любочке. Мундир она завещала тому из нас, кто прежде будет офицером. Всё остальное свое имущество и деньги, исключая сорока рублей, которые она отложила на погребенье и поминанье, она предоставила получить своему брату. Брат ее, еще давно отпущенный на волю, проживал в какой-то дальней губернии и вел жизнь самую распутную; поэтому при жизни своей она не имела с ним никаких сношений.

Когда брат Натальи Савишны явился для получения наследства, и всего имущества покойной оказалось на двадцать пять рублей ассигнациями, он не хотел верить этому и говорил, что не может быть, чтобы старуха, которая шестьдесят лет жила в богатом доме, всё на руках имела, весь свой век жила скупо и над всякой тряпкой тряслась, чтобы она ничего не оставила. Но это действительно было так.

Наталья Савишна два месяца страдала от своей болезни и переносила страдания с истинно-христианским терпением: не ворчала, не жаловалась, а только, по своей привычке, беспрестанно поминала Бога. За час перед смертью, она с тихою радостию исповедалась, причастилась и соборовалась маслом.

У всех домашних она просила прощенья за

обиды, которые могла причинить им, и просила духовника своего, отца Василья, передать всем нам, что не знает, как благодарить нас за наши милости, и просит нас простить ее, если по глупости своей огорчила кого-нибудь, «но воровкой никогда не была и могу сказать, что барской ниткой не поживилась». Это было одно качество, которое она ценила в себе.

Надев приготовленный капот и чепчик и облокотившись на подушки, она до самого конца не переставала разговаривать с священником, вспомнила, что ничего не оставила бедным, достала десять рублей и просила его раздать их в приходе; потом перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула, с радостной улыбкой, произнося имя Божие.

Она оставляла жизнь без сожаления, не боялась смерти и приняла ее как благо. Часто это говорят, но как редко действительно бывает! Наталья Савишна могла не бояться смерти, потому что она умирала с непоколебимою верою и исполнив закон Евангелия. Вся жизнь ее была чистая, бескорыстная любовь и самоотвержение.

Что́ж, ежели ее верования могли бы быть возвышеннее, ее жизнь направлена к более высокой цели; разве эта чистая душа от этого меньше

достойна любви и удивления?

Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни — умерла без сожаления и страха.

Ее похоронили, по ее желанию, недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки. Заросший крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен черною решеткою, и я никогда не забываю из часовни подойти к этой решетке и положить земной поклон.

Иногда я молча останавливаюсь между часовней и черной решеткой. В душе моей вдруг пробуждаются тяжелые воспоминания. Мне приходит мысль: неужели Провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?...

М. А. Цявловский. Комментарии к «Детству».

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ.

Начало работы над «Детством» не поддается точному хронологическому приурочиванию. Первое упоминание об этом произведении можно видеть в записи дневника 18 января 1851 г. (в Москве) : «Писать историю м. д.»,[237] т. е. «моего детства». Затем, до 9 июня этого года, хотя в записях дневника имеется много указаний на литературную работу, ни в одном из них не названо «Детство». Только в записи от 7 марта: «*Занятия для завтра*... Гимнастика, обед, роман, гости и дневник» слово «роман», вероятно, указывает на писание романа «Четыре эпохи развития».

В записи от 9 июня (станица Старогладковская) читаем: «Завтра пойду на охоту, да попишу в большую книгу». Так как I редакция «Детства» писалась в «большой книге» (о чем см. дальше), то

---

237 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 49

Так можно с большей вероятностью прочесть эти буквы в подлиннике, чем напечатанные (по копии) В. Г. Чертковым в «Дневнике молодости Л. Н. Толстого», т. 1. М. 1917, стр. 52: ми... В дальнейшем цитаты из дневников Толстого делаются по рукописям (автографам).

может быть эта запись говорит о «Детстве», хотя, с другой стороны, нужно заметить, что в «большой книге» писалось не одно только «Детство». Зато о записи под 3 июля (Старый Юрт) можно определенно утверждать, что она говорит о работе над I редакцией «Детства». Под указанным числом между прочим записано: «Завтра буду писать роман». Под «романом» здесь нужно разуметь, конечно, роман «Четыре эпохи развития» («Детство», «Отрочество», «Юность» и «Молодость»), первоначальная редакция которого сохранилась и впервые печатается в настоящем томе. Она существенно отличается от известного текста трилогии. Повествование ведется здесь в виде записок, адресованных очень близкому человеку, которого рассказчик называет во вступлении своим «исповедником и судьею». В основу повествования положена история семьи близких знакомых Толстых, Ославиных, детей Александра Мих. Исленьева и кн. Соф. Петр. Козловской. Текст не разбит на главы и делится на две «части». Первая «часть», представляющая собою описание со многими отступлениями-рассуждениями одного дня в деревне, накануне отъезда в Москву, дает в зачаточном виде первые пятнадцать глав «Детства» общеизвестной редакции. Вторая «часть»,

начинающаяся с описания жизни в Москве, в Коммерческом училище, заключает в себе период отрочества. За исключением письма maman, ее смерти и поездки в деревню на похороны (что вошло потом в «Детство»), содержание этой части ничего не имеет общего с известным текстом «Отрочества». На последних страницах рукописи речь идет несомненно уже об эпохе юности, но в отрывочных набросках: в этом плане писание романа было оставлено, и автор приступил к радикальной переработке написанного.

Работа над II редакцией «Детства» началась, надо думать, в двадцатых числах августа 1851 года. В дневнике под 22 августа (ст. Старогладковская) записано: «… привести в порядок мысли и начать переписывать первую главу романа». В первой редакции, как мы сказали, нет деления на главы; весь текст разделен лишь на две части, так что под «первой главой романа» записи дневника нужно понимать «первую часть» I редакции. Через день — 24 августа (ст. Старогладковская) — в дневнике запись: «Писать роман до обеда». 26 августа (там же) такая же запись: «С утра писать роман». Записью от 4 сентября 1851 года дневник прерывается до февраля 1852 г., но и за этот месяц сделано только две записи, а затем записей нет до

20 марта. Под этим числом между прочим записано: «Я перестал писать дневник почти уже семь месяцев. Сентябрь провел я в Старогладковской, то в поездках в Грозную и Старый Юрт… немного писал и переводил. В Октябре месяце я с братом поехал в Тифлис для определения на службу. В Тифлисе провел месяц в нерешительности, что делать, и с глупыми тщеславными планами в голове. С Ноября месяца я лечился, сидел целых два месяца, т. е. до Нового года, дома; это время я провел хотя и скучно, но спокойно и полезно: написал всю первую часть. Генварь я провел частью в дороге, частью в Старогладковской, писал, отделывал первую часть, готовился к походу и был спокоен и хорош. Февраль провел в походе… Начало Марта говел и скучаю, и ленюсь. Отправляясь в поход, я до такой степени приготовил себя к смерти, что не только бросил, но и забыл про свои прежние занятия, так что теперь мне труднее, чем когда-нибудь, снова приняться за них».

В этой записи слова «первая часть» нужно понимать как «первая часть I редакции, т. е. «первый день» «Детства».

Таким образом работа над II редакцией «Детства» продолжалась с 20-х чисел августа 1851 по январь 1852 г. От этого времени, кроме записей

в дневнике, есть еще указание на работу над «Детством», в письме Толстого к Т. А. Ергольской от 12 ноября 1851 г. из Тифлиса. «Помните, добрая тетенька, — пишет Толстой, — совет, который вы раз мне дали — писать романы. Так вот, я следую вашему совету, и занятия, о которых я вам писал, состоят в литературе. Я еще не знаю, появится ли когда-нибудь в свет то, что я пишу, но это работа, которая меня занимает, и в которой я уже слишком далеко зашел, чтобы ее оставить».[238]

От работ этого периода сохранились полностью рукопись «Детства»,[239] — две главы «К читателям» и «К критикам», непосредственно примыкавшие к тексту рукописи,[240] и план всех четырех частей романа «Четыре эпохи развития».[241] План этот сохранился не полностью (сохранившаяся часть начинается со второго дня «Детства»). Так как в большей своей части он относится к «Отро-

---

238 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 50

Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого под ред. и с прим. П. И. Бирюкова. М. 1913, т. XXI стр. 113.

239 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 51

Описана ниже под № 2. К ней же относятся отдельные листки, описанные под №№ 8 и 9.

240 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 52

Описаны ниже под №№ 4 и 5.

241 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 53

Описаны ниже под № 6.

честву» и «Юности», то и печатается во II томе настоящего издания, здесь же помещаем лишь строки, относящиеся к «Детству» :

> Засыпаю. 2-й день, 2 недѣли послѣ пріѣзда, именины бабушки. <Валахины, страстная любовь, обѣ[дъ]> гулянье <съ дѣтьми> кондитерск[ая]. Обѣдъ, Валахин[ы], танцы, театръ. – Разговоръ съ братомъ о проведенномъ днѣ. – Пьяный Карлъ Ивановичъ. – Дѣтство. (Смерть матери). —

Текст этой (II) редакции «Детства» гораздо ближе к последующим — III и IV ред., чем к предыдущей. Он дает большее количество эпизодов, чем II и IV ред. Так, «прогулка», «кондитерская», характеристика гостей, «секли ли нас в детстве», «обед» имеются лишь в этой редакции. Как видно из приведенного плана, намечался еще «театр», на что есть намеки и в тексте II ред. (см. вар. № 20). Пространные рассуждения, столь характерные для I ред., и здесь занимают еще много места. Дальнейшая работа будет заключаться главным образом в их сокращении. (Более подробные сведения о тексте II ред. см. здесь дальше в «Сравнительном обзоре состава глав всех четырех

редакций»).

Записью в дневнике под 21 марта 1852 г. начинают отмечаться работы над III ред. «Детства». Под этим числом записано: «После обеда переписывал первую часть и работал без всякого принуждения. Дай Бог, чтоб это всегда так было… Порядок занятий, который я принял, т. е. утром перевод, после обеда корректура и вечером повесть — очень хорош». «Корректура», это — вероятно, исправления написанного прежде, а слова — «вечером повесть» нужно, очевидно, понимать, как писание вновь, или, вернее, переписывание текста II ред. с новыми изменениями.

Под 22 марта: «Корректур сделал не так много, как вчера, и не так чисто; а, это главное, чтоб не надоедал труд… Не продолжал повесть частью от того, что не успел, а частью от того, что я сильно начинаю сомневаться в достоинствах первой части. Мне кажется слишком подробно, растянуто и мало жизни. Подумаю об этом».

24 марта запись: «Немного поделал корректуру… Завтра праздник я буду делать только корректуры…»

27 марта, утро: «25-го я встал в 7, читал, делал корректуры… Нынче буду делать корректуры, может быть и писать».

27 марта, 12 ч. ночи: «хоть не совсем здоровилось, я делал корректуры до 11 часов и делал корректуры не совсем чисто и отчетливо; обедал, почитал и продолжал ту же работу; пришел брат, я ему читал писанное в Тифлисе. По его мнению не так хорошо, как прежнее, а по моему к чорту не годится. Хотел облегчить свой труд, но писаря переписывать не могут; следовательно, нужно работать одному… Завтра буду переписывать… и обдумаю 2-ой день, можно ли его исправить или нужно совсем бросить. Нужно без жалости уничтожать все места неясные, растянутые, неуместные, одним словом неудовлетворяющие, хотя бы они были хороши сами по себе».

28 марта, $^{1}/_{2}$11-го ночи: «Писал мало под тем предлогом, что болен».

29 марта: «…писал довольно мало… Я писал повесть с охотой; но теперь презираю и самый труд, и себя, и тех, которые будут читать ее; ежели я не бросал этот труд, то только в надежде прогнать скуку, получить навык к работе и сделать удовольствие Татьяне Александровне. Ежели примешивается тут тщеславная мысль, то она так невинна, что я извиняю ее в себе, и приносит пользу — деятельность».

31 марта: «Отделал одну главу… Ванюшка лени-

во переписывает». Ванюшка, переписывавший главы «Детства», — тот самый Ванюша, о котором Толстой вспоминал в своих «Воспоминаниях детства», говоря о брате Дмитрии — Иван Васильевич Суворов, скончавшийся в глубокой старости в Ясной поляне.[242] В рукописи III ред. «Детства», главы: 7-я «Приготовления к охоте», 8-я (потом исключенная) «Что же и хорошего в псовой охоте?», 8-я «Охота», 9-я «Что-то в роде первой любви», 11-я «Любочка» и 12-я «Гриша» написаны старательным, похожим на детский, почерком. На основании приведенной и последующих записей дневника можно определенно утверждать, что перечисленные главы переписывались Ванюшей.

1 апреля: «Писал главу *о молитве*, шло вяло. Ванюшка переписывает дурно и вяло, но не теряю надежды его приучить… Писал, писал, наконец, стал замечать, что рассуждение о молитве имеет претензию на логичность и глубокость мыслей, а не последовательно. Решился покончить чем-нибудь, не вставая с места, и сейчас сжег половину — в повесть не помещу, но сохраню, как памятник».

---

242 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 54

См. полн. собр. соч. Толстого под ред. П. И. Бирюкова, М. 1913, т. 1, стр. 285.

Под главой «о молитве» здесь разумеется глава 12-я «Гриша» (III ред.). Рассуждение, не вошедшее в «Детство» и сохраненное автором, «как памятник», дошло до нас. Оно напечатано в настоящем томе (стр. 247—8).

2 апреля: «Встал в 9, читал и писал... После обеда читал и засадил Ванюшку, обещая ему поместить его мать на Грумант.[243] Он стоит этого... Ужинал и после ужина писал до сих пор, до 1/4 второго, 2-й день очень, плох, *нужно заняться им хорошенько*».

3 апреля: «Писал немного... Работа с Ванюшкой подвигается. Я меньше конфужусь. 1-я глава «Стихи» написана, но я не составил о ней никакого мнения, скорее дурна, чем хороша, ежели я в нерешительности». 17-я глава (III ред.) «Стихи» — названа здесь 1-й потому, что это — 1-я глава «2-го дня», что и помечено в рукописи III ред.

5 апреля: «... писал очень мало... Завтра встаю

---

243 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 55

Деревня в трех верстах от Ясной поляны, принадлешавшая Толстым. См. «Воспоминания детства» Толстого в полн. собр. соч. под ред. П. И. Бирюкова, М. 1913, т. I, стр. 291.

«Так как ты очень доволен Ванюшей, — писала Толстому Т. А. Ергольская 20 июня 1852 г., — то передай ему от меня поклон; он лакей и повар, обе должности исполняет хорошо, и это делает ему честь. Ты хорошо сделал, что взял его с собой — это умный малый и годен на все. Его мать устроена в Грумант, чем она очень довольная. Из неопубликованного письма, хранящегося в архиве Л. Толстого. Оригинал по-французски.

со светом и кончаю 1-ый день и пересматриваю его».

6 апреля: «Писал до обеда… Еще писал, но не тщательно, потому что клонил сон… дописал первый день, хотя не тщательно, но слог, кажется, чист, и прибавления не дурны.»

7 апреля: «Перечел и сделал окончательные поправки в 1-ом дне. — Я решительно убежден, что онъ никуда не годится. Слог слишком небрежен и слишком мало мыслей, чтобы можно было простить пустоту содержания. Однако, я решился докончить корректуры всей первой части и завтра примусь за *2-й день*. Пошлю ли я или нет это сочинение? Я не решил. Мнение Николеньки решит это дело».

8 апреля: «Обедал, принялся писать, но был не в духе, поэтому, написав две страницы, бросил».

10 апреля: «…принялся за роман, но, написав две страницы — остановился, потому что мне пришла мысль, что второй день не может быть хорош без интересу, что весь роман похож на драму. Не жалею, отброшу завтра все лишнее».

11 апреля: «Думал о переменах, которые нужно сделать в повести, и ежели тоска и апатия, которые я чувствовал нынче — пройдут, завтра примусь за дело.»

12 апреля: «...переводил, потом писал, обедал, еще писал... У меня становится дурная привычка навязываться с чтением моей повести.»

16 апреля: «Писал, но, кажется, нехорошо... Завтра надо рано встать, писать письма, писать...»

17 апреля: «Писал новую главу «Ивины», но вышло дурно. Гости у хозяина и их разговоры мешали мнѣ заниматься и занимали меня... Отдал переписывать первый день».

19 апреля: «Я вспомнил эпизоды Осташевского сада и жалею, что не поместил их в повести».[244]

Затем отметки о писании «Детства» имеются в записях 20, 21 и 23 апреля.

После последней записи перерыв в работе до 10 мая, когда записано: «Завтра принимаюсь за продолжение «*Детства*», и может быть за новый роман».

11 мая: «Писал немного без всякого самолюбия и очень легко. Мне пришло на мысль, что я очень был похож в своем литературном направлении этот год на известных людей (в особенности барышень), которые во всем хотят видеть какую-то особенную тонкость и замысловатость».

18 мая: «Встал рано, писал «Детство», оно мне

---

244 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 56

Об «эпизодах Осташевского сада» см. рассказ Толстого в биографии П. И. Бирюкова «Л. Н. Толстой», т. I, изд. 2-е, стр. 118—119.

опротивело до крайности, но буду продолжать».

Под 19, 20 и 21 мая записано о работе над «Детством».

22 мая: «… переписывал «Письмо», за второй частью которого придется подумать. Перечитывал главу «Горе» и от души заплакал. Действительно *есть* места прекрасные, но есть и очень плохие. — Я становлюсь чрезвычайно небрежен во всем. Надо себя принудить». «Письмо» это — 26-я глава (III ред.), а «Горе» — 27-я.

23 мая: «Докончил «Письмо» довольно хорошо… *Детство* кажется мне не совсем скверным. Ежели бы достало терпенья переписать его в 4-й раз, вышло бы даже хорошо».

25 мая: «…писал мало, потому что задумался на мистической, малосмысленной фразе, которую хотел написать красноречиво. Потерял за ней все утро и все-таки не доволен».

26 мая: «Кончаю последнюю главу… Завтра кончаю «Детство», пишу письма и начинаю окончательно пересматривать».

27 мая: «Утром окончил «Детство» и целый день ничего не мог делать. Начало, которое я перечитывал, очень плохо, но все-таки велю переписать и тотчас же пошлю».

Таким образом переработка II ред. в III потре-

бовала с лишним два месяца — с 21 марта по 27 мая 1852 года.

Рукопись и III ред. сохранилась.[245] Текст ее отличается от текста II ред. отсутствием ряда глав (так, здесь исключены главы 18 и 19 II ред.) и значительными сокращениями в ряде глав; сжаты (а некоторые и совсем исключены) отступления-рассуждения; с другой стороны, написана новая глава «Ивины» (20-я III ред.).

Стилистические же изменения, как всегда у Толстого, прошли через все абзацы всех глав, так что трудно указать пять-десять строк, текст которых слово в слово совпадал бы с текстом предыдущей редакции. (Более подробные сведения о тексте III ред. см. здесь дальше в «Сравнительном обзоре состава глав всех четырех редакций».)

С 30 мая 1852 года началась окончательная отделка текста, давшая в результате IV редакцию.

Под этим числом в дневнике записано: «…написал письмо Татьяне Александровне, которое не послал и которым не доволен… Есть ли у меня талант сравнительно с новыми Русскими литераторами? Положительно нету». Письмо к Т. А. Ергольской сохранилось, и в нем есть такие

---

245 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 57
Описана ниже под № 3.

строки о работе над «Детством»: «Мои литературные работы также подвигаются понемногу, хотя я еще не думаю ничего печатать. Я три раза переделал работу, которую начал уже давно, и я рассчитываю еще раз переделать ее, чтобы быть довольным. Быть может, это будет работой Пенелопы, но это не отталкивает меня; я пишу не из тщеславия, но по влечению, мне приятно и полезно работать и я работаю».[246]

Под 31 мая в дневнике записано: «Был у меня писарь, отдал и прочел ему 1-ую главу. Она решительно никуда не годится. Завтра переделываю вторую, и по мере того, как буду переписывать, буду переделывать».

1 июня: «Толковал про всякие глупости с Б. и имел глупость прочесть ему несколько глав из «Детства». Я вижу, что ему не понравилось, и не говорю, чтобы это было потому, что он не понимает, — просто дурно. — Писец переписывал 1-ую главу порядочно; а я был так ленив, что даже не

---

246 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 58

См. Полное собр. соч. Л. Н. Толстого, под ред. И. И. Бирюкова. Изд. Сытина. 1913 г. т. XXI, стр. 122. Письмо к Т. А. Ергольской Толстой на этих днях все-таки послал, потому что есть ответ на него Ергольской, которая 20 июня писала: «Твои литературные сочинения идут по-попрежнему, ты говоришь; ты хорошо делаешь, что не бросаешь работу подобного рода; если ты находишь в ней удовольствие, нужно надеяться, что сделаешь в ней успехи». Из неопубликованного письма, хранящегося в архиве Толстого.

приготовил в целый день следующей. — Завтра переправлю с утра столько глав, сколько успею». Б. — знакомый офицер Буемский.

2 июня: «...поправлял «Детство», задал работу писарю... *Хотя* в «Детстве» будут орфогр. ошибки,[247] оно еще будет сносно. Все, что я про него думаю, это то, что есть повести хуже; однако, я еще не убежден, что у меня нет таланта. У меня, мне кажется, нет терпения, навыка и отчетливости, тоже нет ничего великого ни в слоге, ни в чувствах, ни в мыслях. — В последнем я еще сомневаюсь, однако».

Затем записи о работе над «Детством» идут под 4, 6, 7, 8,11 и 12 июня.

13 июня: «Иван Моисеевич воняет и по рассказам хозяйки пьяница. Пересмотрю завтра не переписанные им главы 1-ой части. Писал довольно...»

14 июня: «Отказал Ивану Моисеевичу».

15 июня: «Писал. Кончил вторую [248] часть, перечел ее и опять очень недоволен, однако, буду

---

247 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 59

Здесь под словом «орфографические» (в изд. Черткова неправильно напечатано: «огром.») надо очевидно понимать «грамматические».

248 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 60

Вероятно в этой записи «вторую» описка вместо «первую». См. следующую запись.

продолжать. После обеда не писал».

16 июня: «Продолжал с большими сокращениями (вторую) 1-ую часть. Хотя как-нибудь покончить».

17 июня: «Переписал дурно и мало».

18 и 19 июня: «Переписывал мало, но за то Б. серьезно принялся».

20 июня: «…потом писал. Прибавил описание уборки порядочно».

«Уборка» — это абзац: «Хлебная уборка была во всем разгаре…» в главе II (IV ред.).

22 июня: «Написал недурную главу игры… Начинаю чувствовать необходимость и желание в третий раз переписать «Детство». Может выйти хорошо». Глава «Игры» — VIII глава IV ред., впервые появляющаяся лишь в этой редакции. Слова «в *третий* раз переписать Детство» — вероятно описка вместо «в четвертый», не считая при этом I ред. (по нашему счету).

25 июня: «Писал до обеда нехорошо, после обеда почувствовал зубную боль и писал еще хуже»… И еще записи под 28, 29 и 30 июня.

1 июля: «Завтра кончу «Детство» и решу его судьбу».

2 июля: «… окончил «Детство» и поправлял его».

3 июля: «...поправлял «Детство».

На этом кончаются записи в дневнике о работе над «Детством». Таким образом, окончательная отделка заняла с небольшим месяц — с 30 мая по 3 июля 1852 года — во время пребывания Толстого в Пятигорске.[249]

Рукопись IV ред., посланная Толстым в редакцию «Современника», не сохранилась, и окончательный текст повести мы имеем в отдельном ее издании 1856 г. (текст «Современника» искажен по цензурным требованиям).

По сравнению с текстом III ред., окончательный текст сокращен. Наиболее существенные сокращения произведены в двенадцати главах — I, IV—VI, X—XII, XVII, XVIII, XX, XXIV и XXV, прибавлено же — одна глава (VIII) и абзац в I гл.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К «ДЕТСТВУ».

В архиве Л. Н. Толстого, хранящемся в Библиотеке Союза ССР им. Ленина, имеются следующие

---

249 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 61

В записи дневника от 12 июля есть такое место: «Читал М. Д. — плоско». В следующей записи, от 13 июля: «Обедал, слушал, как Б. читал М. Д... Кончил М. Д.». В издании В. Г. Черткова (стр. 143) под буквами «М. Д.» понимается «Мое детство», что неверно. Под «М. Д.» здесь нужно разуметь Михайловского-Данилевского.

рукописи, относящиеся к «Детству»:

1 *(П. IV)*. Рукопись без заглавия I редакции романа «Четыре эпохи развития», представляющая собою автограф Толстого на 47 листах (94 страницах) форматом в лист плотной белой писчей бумаги (без водяных знаков), исписанных с обеих сторон. Страницы перенумерованы самим Толстым, но в нумерации сделано две ошибки: дважды поставлены номера: «55» и «61», почему оказалось всего 92 страницы, тогда как на самом деле их 94. Нами сохранена нумерация Толстого. Листы вырезаны из переплетенной тетради после написания, причем во многих местах оказались отрезанными последние буквы строк. Последняя страница чистая. Текст писан разными чернилами, но большая часть его рыжеватыми, может быть выцветшими, и испещрен поправками, зачеркиваниями (горизонтальными линиями по словам и крест-на-крест по ряду строк), вставками, написанными на полях и между строк, и пометами, написанными поперек строк текста. Почерк, вообще не очень разборчивый, местами с трудом поддается дешифровке.

Описываемая рукопись дает первоначальный текст романа «Четыре эпохи развития», части которого должны были называться: «Детство»,

«Отрочество», «Юность» и «Молодость». На стр. 88-ой текст рукописи и знак вноски — крестик перед словом «разговор», указывают, что до нас не дошло какое-то количество строк или страниц, относящихся к этому месту, но тот факт, что в нумерации страниц нет пропуска и что последняя (92-я) страница не исписана, указывает на то, что описываемая рукопись дает в общем полностью то, что было написано Толстым в качестве I редакции задуманного романа.

Текст описываемой рукописи до сих пор не был опубликован ни полностью, ни в частях и впервые печатается в настоящем томе (стр. 103—166).

Нами воспроизводится полностью все незачеркнутое Толстым, из зачеркнутого же печатается *в ломаных скобках* все значительное по размерам и представляющее интерес с точки зрения композиции произведения, отдельные же зачеркнутые на ходу письма слова за весьма незначительными случаями не воспроизводятся. О правилах, принятых при воспроизведении текста, см. стр. XXI — XXIII.

2 *(П. IV)*. Рукопись II редакции «Детства» — автограф Толстого на 192-х страницах в 4°, из которых 176 представляют собою 44 полулиста писчей

белой бумаги (без водяных знаков), согнутых пополам, и 16 страниц — 8 четвертушек, исписанных с обеих сторон и не сшитых между собою. Последнее обстоятельство позволяло отдавать отдельные главы в переписку, работая в то же время над отделкой других глав, что и делал Толстой, как видно из его записей дневника, выше нами приведенных.

Полулисты (4 страницы) перенумерованы самим Толстым, но нумерация не соответствует действительности, так как иногда один и тот же номер стоит на двух или даже на трех листах. Последний полулист по счету Толстого — 39-ый. Страницы имеют поля, во многих местах записанные. Чернила — рыжеватые.

В правом верхнем углу первой страницы имеется заглавие : «<1-ый день> Детство». Текст разделен на главы. Нумерованных глав 25, ненумерованных — 7. Кроме того, глава 24-я «Горе», можно думать, должна была быть разделенной на две главы, и таким образом всех глав в этой редакции получалось 33. Ни полностью, ни в отрывках текст этой рукописи в печати не появлялся. Нами из него печатается двадцать шесть отрывков (варианты №№ 1, 2, 6, 8, 9, 12—20, 22, 24—34).

3 *(П. IV)*. Рукопись III редакции «Детства» — автограф Толстого, представляющий собою, как и рукопись II ред., пачку полулистов, согнутых пополам и не сшитых между собою. Полных (в 4 страницы) полулистов 72 и 3 четвертушки (по 2 страницы), а всего, таким образом, 294 страницы. Полулисты и страницы нумерованы самим Толстым, но с ошибками: по его счету оказалось 291 страница. На верху первой страницы написано:

<Четыре эпохи развитія.>

<Воспоминанія о нѣсколькихъ дняхъ.>

<Первый день.> Дѣтство.

<Первый день.>

Весь текст написан рукою Толстого, кроме глав: 7-й «Приготовления к охоте», 8-й (потом исключенной) «Что же и хорошего в псовой охоте?», 8-й «Охота», 9-й «Что-то в роде первой любви», 11-й «Любочка» и 12-й «Гриша», которые написаны тщательным почерком по линейкам. Главы эти переписывал крепостной Толстого Ванюша Суворов.[250] Чернила рыжеватые разных оттенков, характерные для писаний кавказского периода. Зачеркиваний и вставок по сравнению с рукописями предыдущих редакций меньше. На

---

250 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 62

См. выше «Историю писания Детства».

последней странице, в большей части занятой текстом, написан рукой Толстого французский ребус: venance, g, France, d, fert, k, Colbert, Paris[251] и нарисованы трое весов на коромысле; на левых чашках, перевешивающих правые, написано: «хвалить, хвалить, искусство», а на правых чашках — «хулить, хулить, критика». См. снимок с этой страницы между стр. 166 и 167.

Весь текст раздлен на 29 нумерованных глав и одну (первоначально бывшую 8-й) потом исключенную; таким образом всего в III ред. было сначала 30 глав.

Текст этой рукописи полностью напечатан С. А. Толстой в ее 12-м издании «Сочинений графа Л. Н. Толстого». М. 1911, часть 1-я. Здесь воспроизведено все, незачеркнутое в рукописи, а из зачеркнутого даны в приложении два отрывка: глава 8-я «Что же и хорошего в псовой охоте?», исключенная автором, и эпизод с пьяным Карлом Ивановичем (из 25-й главы). Текст рукописи напечатан вполне удовлетворительно (орфография и пунктуация оригинала не воспроизведены), но в него сделаны вставки из IV ред. (что обозначено

---

251 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 63

Слова написаны одно под другим и читаются: J'ai souvenance des souffrances, qu'a souffert Paris sous Colbert — я вспоминаю о страданиях, которые претерпел Париж при Кольбере.

звездочками); таким образом текст получился «сводный», т. е. не Толстого. Нами в вариантах дается из этой рукописи восемь отрывков (варианты №№ 3—5, 7, 10, 11, 21 и 23).

4 *(П. IV)*. Рукопись главы «Къ читателямъ» — автограф Толстого, представляющий собою полулист белой писчей бумаги (без водяных знаков), согнутый пополам (4 страницы в 4°) с цифрой пагинации «40», с текстом, озаглавленным: «Къ читателямъ. Глава <34-я> 1». Цифра «40», бумага, почерк и цвет чернил заставляют видеть в этой рукописи главу II ред. «Детства», которая должна была сначала занимать место после последней (25-й) главы. То обстоятельство, что глава «К читателям» сначала была помечена «34-й», указывает на то, что Толстой считал одно время во II ред. 33 главы, к которым он и прибавлял 34-ю, но потом решил поместить ее первой, на что указывает цифра «1», поставленная правее зачеркнутой цифры «34». Но и от этого намерения Толстой отказался, откинув эту главу в III ред. Нами глава печатается в вариантах (№ 33). Впервые эта глава была напечатана в «Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого» под ред. П. И. Бирюкова, изд. Сытина, [1912] г., т. I, стр. 7—9.

5 *(П. IV)*. Рукопись главы «Къ критикамъ» — ав-

тограф Толстого на 8страницах (два полулиста, согнутые пополам) в 4° белой писчей бумаги (без водяных знаков) с текстом, озаглавленным: «Глава… Къ тѣмъ Господамъ критикамъ, которые захотятъ принять ее на свой счетъ». После заглавия идет конспект главы «К читателям», после чего следует обращение к критикам: «Милостивые Государи!»… и т. д. Из этого видно, что обе эти главы в таком именно порядке должны были заключать собою «Детство» во II ред. И эта глава была откинута в III ред. Текст ее печатается нами впервые, в вариантах. См. вар. № 34.

6 *(П. IV)*. Рукопись плана романа «Четыре эпохи развития» — автограф Толстого на одном листе (2 страницы) в 4° белой писчей бумаги (без водяных знаков), сверху оборванной. Заглавия никакого нет. В печати не появлялось. Так как в большей своей части текст плана относится к «Отрочеству» и «Юности», то полностью он печатается во II томе настоящего издания. Относящееся к «Детству» печатается в этом томѣ (см. стр. 307).

7 *(П. IV)*. Рукопись второго плана романа «Четыре эпохи развития» — автограф Толстого на одном листе (4 страницы) белой бумаги малого почтового формата (без водяных знаков). Этот план составлен после того, как было написано

«Детство» (на что указано в «плане»). И этот «план» в печати не появлялся. Так как «план» почти исключительна относится к «Отрочеству», «Юности» и «Молодости», то нами он помещается во II томе настоящего издания.

8 *(П. IV)*. Рукопись, начинающаяся словами: «Секли ли нас или нет…» — автограф Толстого на одном листке (2 страницы) в 4° белой писчей бумаги (без водяных знаков), повидимому вырванном из тетради, с цифрой «22». Чернила очень бледные. Текст представляет собою вставку в 16-ю главу II ред. В печати не появлялось. Нами печатается в вариантах. См. вар. № 16.

9 *(П. IV)*. Рукопись, начинающаяся словами: «В числе последних был один…» — автограф Толстого на одном листе (2 страницы) в 4° белой писчей бумаги (без водяных знаков), представляющий собою вставку в 17-ю главу II ред. В печати не появлялось. Нами печатается в вариантах. См. вар. № 17.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОСТАВА ГЛАВ ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ РЕДАКЦИЙ «ДЕТСТВА».

Не считая возможным в настоящем издании опубликовать полностью тексты II и III редакций, мы печатаем из них лишь отрывки; для указания

же местонахождения их в рукописных текстах дается настоящий обзор, позволяющий вместе с тем следить за тем, как шла работа автора. За основание сравнения взята окончательная (IV ред.), с текстом которой и сравниваются тексты первых трех редакций.

I глава «Учитель Карл Иванович». В I ред. собственно нет соответствующего этой главе места, и лишь на стр. 8 —11 есть места, вошедшие в состав I главы IV ред.

Во II ред. этой главе соответствует 1-я глава «Учитель Немец». Текст ее близок к тексту IV ред., кроме следующего: 1) Вместо последней фразы четвертого с конца абзаца IV ред. («На другой стене висели…»): «Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени…», во II ред. имеется помещенное нами в вариантах. *(См. вариант № 1.)* 2) После третьего с конца абзаца IV ред. во II ред. имеется помещаемое нами в вариантах *(См. вариант №2)*, после чего идет то, что в IV ред. со слов: «Вот какой был вид из них…» Остальные отличия текста II ред. от IV более или менее незначительны.

В III ред. этой главе соответствует: «Глава I-я. Учитель Карл Иванович». Текст ее тот же самый, что и II ред. с незначительными отличиями.

II глава «Maman». В I ред. эта глава имеется лишь в зачаточном виде на страницах 11 —12. С другой стороны, во всех последующих редакциях отсутствует рассказ о ночном эпизоде с Карлом Ивановичем.

Во II ред. этой главе соответствует 2-я глава (не вся). Первоначально она была названа: «Bonjour papa», но это заглавие зачеркнуто, и дано другое: «Bonjour maman». По тексту она близка (с незначительными отличиями) к IV ред.

В III ред. этой главе соответствует: «Глава 2-я. Maman». Текст ее почти ничем не отличается от текста II ред.

III глава «Папа». В I ред. этой главе соответствуют с конца 12-й по 16-ю (включительно) страницы. Текст их в общем довольно близок, к тексту IV ред., но несколько пространнее последнего.

Во II ред. этой главе соответствуют: конец 2-й главы; глава без номера, сначала названная: «Bonjour papa», потом: «Портрет папа», и глава без номера «Bonjour papa». Конец 2-й главы II ред. по тексту очень близок (с незначительными отличиями) к первым двум абзацам III главы IV ред. Начало главы «Портрет папа» дает текст, соответствующий тексту III главы IV ред., начиная

с третьего абзаца и кончая словами папа: «Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания». Во II ред. это место очень близко к тексту IV ред. Затем (во II ред.) идет:

> «Яковъ продолжалъ разспрашивать: «какъ прикажете на счетъ того-то и того-то?» и все какъ будто не понималъ; видно было, что ему что-то хотѣлось сказать, но онъ не рѣшался, такъ что совѣщаніе продолжалось довольно долго, и я не слушалъ больше, а смотрѣлъ на лицо и фигуру папа».

После этого идет пространная характеристика папа, вошедшая в несколько переработанном виде в X главу IV ред. Глава «Bonjour papa» соответствует тексту III главы IV ред., начиная с абзаца «Яков помолчал несколько секунд» и до конца главы. Текст во II ред. очень близок к IV ред., имея незначительные отличия.

В III ред. этой главе соответствует «Глава 3-я. Папа», дающая с незначительными отличиями тот же текст, что и в IV ред.

IV глава «Классы». В I ред. этой главе соответствуют страницы 17-я, 25-я и 26-я. Здесь нет еще ни речи Карла Ивановича, обращенной к Нико-

лаю, ни диктовки; зато имеется характеристика взаимных отношений maman и папа (стр. 18—19), подробно изложенный разговор между ними (конец 19 — 24 страницы) и мечты рассказчика (стр. 26).

Во II ред. этой главе соответствует «Глава 3-я. Классы». Здесь имеется уже всё, составившее содержание IV главы IV ред. в тексте, близком к тексту последней; с другой стороны, есть и характеристика взаимных отношений maman и папа (в сокращенном виде по сравнению с I ред.), разговор же между ними передан в виде отрывков фраз и отдельных слов, доносящихся до слуха подслушивающего у окна рассказчика, но и это зачеркнуто крест-на-крест и по написанному помечено: «переменить». Мечты рассказчика изложены здесь в тексте, очень близком к I ред.

В III ред. этой главе соответствует «Глава 5-я. Классы». Текст ее в общем близок к тексту IV ред., но имеет следующие наиболее значительные отличия: 1) Между абзацом IV главы IV ред.: «Должно быть, Николай хотел» и следующим в III ред. имеются два абзаца, помещаемые нами в вариантах. *(См. вариант № 3).* 2) Между абзацом IV главы IV ред.: «Много и долго говорил» и следующим в III ред. имеется абзац, помещаемый нами в

вариантах. *(См. вариант № 4)*. 3) Характеристика взаимных отношений maman и папа имеется в несколько переработанном виде по сравнению с предыдущими редакциями, а разговор maman с папа изложен в одном коротеньком абзаце:

> Володя пересталъ говорить діялоги, и до меня изъ кабинета ясно долетали отрывки нѣкоторыхъ фразъ. По этимъ отрывкамъ я понялъ общій смыслъ разговора. Папа говорилъ, что нынѣшній годъ доходы были такъ малы, а расходы такъ велики, что нельзя было и думать всѣмъ домомъ жить въ Москвѣ, но что дѣтямъ, особенно Володѣ, которому скоро тринадцать лѣтъ, давно уже пора учиться чему нибудь, кромѣ Тирольскихъ пѣсенъ и діялоговъ Карла Ивановича, что на лѣто онъ ихъ привезетъ въ деревню, а будущей зимой, Богъ милостивъ, и всѣ переѣдемъ въ Москву. – «Я знаю, мой другъ; что это для ихъ же пользы, но все-таки мнѣ грустно» – отвѣчала maman и отошла отъ окошка. —

4) Мечты Николеньки изложены и здесь в тексте, близком к текстам I и II ред., но кончаются

фразой, которой нет в этих редакциях:

> «Но всѣ эти мечты передать слишкомъ трудно, не потому что онѣ нелѣпы, но потому что онѣ прекрасны».

Всего указанного нет в IV ред.

V глава «Юродивый». В I ред. этой главе соответствуют 27 — 34 стр. Здесь это место изложено пространнее, чем в последующих редакциях.

Во II ред. этой главе соответствует «Глава 4-я. Юродивый». По тексту она ближе к IV ред., чем I ред.: разговор между maman и папа о странниках более краток, чем в I ред., но несколько пространнее, чем в IV ред.

В III ред. этой главе соответствует «Глава 6-я. «Юродивый». II здесь текст, очень близкий к тексту II ред., пространнее текста IV ред.

VI глава «Приготовления к охоте». В I ред. этой главе соответствуют 35 — 38 страницы. Текст их близок к IV ред. и отличается только тем, что заключает в себе небольшое рассуждение об охоте.

Во II ред. этой главе соответствует «Глава <5>[252] 4. Приготовления к охоте», начинающаяся так же, как и соответствующее место в I ред., на

---

252 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 64

Сначала было написано: «5», но потом переделано на «4».

здесь (во II ред.) после слов I ред.: «за что мы и принялись с большим нетерпением кончить и бежать наслаждаться у крыльца видом собак, запахом лошадей и разговором с охотниками» идет абзац:

> Должно быть съ лѣтами чувство обонянія у меня совсѣмъ перемѣнилось. Отчего, сколько теперь я не принюхиваюсь къ запаху лошадей – этотъ запахъ совсѣмъ не имѣетъ для меня того значенія и прелести, которыя прежде имѣлъ.

После этого абзаца во II ред. написано: «Глава 6-я. Что же <дурного> и хорошего-то в псовой охоте?

За что охота с собаками…» Дальше идет как в I ред., кончая словами: «А вот что», после которых идет рассказ о тетушке, ловившей зайца, т. е. эпизод, имеющийся и в I ред. в другом месте (конец 40—41 стр.). Здесь (во II ред.) эпизод этот дважды изложен несколько подробнее, чем в I ред. Перечеркнув крест-на-крест первый вариант, Толстой снова написал весь эпизод с незначительными отличиями. Вслед за эпизодом о тетушке во II ред. идет эпизод о купце Подъемщикове на охоте, имеющийся и в I ред. (конец 41 — 42 стр.). Здесь

(во II ред.) он изложен несколько подробнее и не зачеркнут. После эпизода с купцом Подъемщиковым идет во II ред. «Глава 7-я. Охота», начинающаяся абзацем: «День был жаркий», который в IV ред. помещен в VI главе.

В III ред. этой главе соответствуют главы: «Глава 7-я. Приготовления к охоте», дающая тот же самый текст, что и <5> 4-я глава II ред., и «Глава 8-я. Что же и хорошего в псовой охоте?», дающая тот же текст (с незначительными отличиями), что и 6-я глава II ред., причем эпизод с тетушкой здесь имеется лишь во втором варианте II ред., но глава эта перечеркнута,[253] а над ее заглавием рукой Толстого написано в скобках: «Выпустить». Вследствие этого следующая глава, сначала занумерованная девятой, оказалась восьмой. Это — «Глава 8-я.[254] Охота», начинающаяся так же, как и 7-я глава II ред. абзацем «День был жаркий», дающим тот же текст, что и во II ред. В вариантах помещаем 8-ю (зачеркнутую) главу III ред. *(См. вариант № 5.)*

VII глава «Охота». В I ред. этой главе соответствуют 38 — 40 и 42 страницы, дающие текст по

---

253 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 65
Зачеркивающая линия прошла через три с половиной первых абзаца.

254 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 66
Сначала было написано: «9», но потом исправлено на «8».

сравнению с текстом IV ред. более краткий; здесь нет между прочим места, соответствующего абзацу: «Хлебная уборка была» IV ред.

Во II ред. этой главе соответствует 7-я глава, начиная с абзаца: «Доезжачий, прозывавшийся Турка». Текст ее несколько пространнее текста I ред., но короче IV ред. Вместо абзаца IV ред.: «Хлебная уборка была», здесь (во II ред.), только фраза:

> А жнивье или зелени въ солнечный день, какой прекрасный фонъ для этой картины!

В III ред. этой главе соответствует 8-я глава, начиная с абзаца: «Доезжачий, прозывавшийся Турка». Текст ее тот же самый, что и текст II ред. с незначительными отличиями. Таким образом, абзац «Хлебная уборка была» был написан лишь в IV ред., что подтверждается и записью в дневнике под 20 июня 1852 г.: «Прибавил описание уборки, порядочно».

VIII глава «Игры». В I ред. соответствующего этой главе места нет.

Во II ред. этой главе соответствует «Глава 8-я. <Катенька.> Что-то в роде первой любви». Здесь первый абзац соответствует первому абзацу IV ред., который пространнее, всей же остальной

части VIII главы IV ред. соответствует лишь начало второго абзаца:

> Когда насъ одѣлили, сидѣть на коврѣ было незачѣмъ, и мы побѣжали играть въ Робинсона. Игра эта состояла въ представления: сценъ изъ «Robinson Suisse»,[255] котораго мы передъ этимъ читали. Я былъ *Эрнест*ъ, Любочка была мать.

В III ред. этой главе соответствует первая часть главы: «Глава 9-я.[256] Что-то в роде первой любви». Текст здесь тот же самый, что и во II ред.

Таким образом, в большей своей части глава эта написана лишь в IV ред., что подтверждается и записью в дневнике по 22 июня 1852 г.: «Написал не дурную главу «Игры».

IX глава «Что-то в роде первой любви». В I ред. этой главе соответствуют 43 — начало 44 стр. Здесь текст по сравнению с текстом IV ред. более краток.

Во II ред. этой главе соответствует глава 8-я, начиная со слов: «Представляя, что она рвет» вто-

---

255 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 67
[«Швейцарский Робинзон»]

256 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 68
Первоначально было «10», но потом переделано на «9».

рого абзаца. Текст ее в общем близок к тексту IV ред. Даем часть этого текста, имеющего отличия от IV ред.

> Катенька, нагнувшись надъ червякомъ, сдѣлала это самое движеніе – я смотрѣлъ ей черезъ плечо. – Въ эту минуту вѣтеръ поднялъ косыночку съ ея бѣленькой шейки. – Я смотрѣлъ уже не на червяка, а на голое плечико, которое было отъ моихъ губъ на два пальца – смотрѣлъ, смотрѣлъ и прижалъ къ нему губы такъ сильно, что Катенька отодвинулась, и съ такимъ наслажденіемъ, что я никогда не пересталъ бы, ежели бы она этаго не сдѣлала. Катенька даже не обернулась; но я замѣтилъ, что не только то мѣсто, въ которое я цѣловалъ, но и вся шея ея покраснѣла. Володя, не поднимая головы, презрительно сказалъ: «что за нѣжности!» и продолжалъ заниматься пресмыкающимся – у меня же были слезы на глазахъ отъ удовольствія и стыда. —
>
> Чувство этаго удовольствія было для меня совершенно ново и напоминало только то наслажденіе, которое я одинъ

разъ испыталъ – гладя свою голую руку. —

Хотя мнѣ было очень стыдно, но я въ продолженіи всего гулянья послѣ этаго не спускалъ глазъ съ Катеньки.

В III ред. этой главе соответствует вторая часть 9-й главы, дающая тот же текст, что и II ред. (с незначительными изменениями).

X глава «Что за человек был мой отец?» Этой главе в I ред. соответствуют 6 и 7 страницы.

Во II ред. этой главе соответствуют главы без номера: «Портрет папа» и «Bonjour papa». Здесь, после приведенных выше слов о совещании папа с Яковом (см. здесь главу III), идет характеристика папа, начинающаяся фразой, взятой в скобки:[257]

(Всегда папа слылъ за пріятнаго человѣка, но для меня, хотя я хорошо изучилъ его, онъ ничего не имѣлъ пріятнаго, должно быть оттого, что я слишкомъ хорошо его зналъ.)

После этого идет самая характеристика, в несколько сокращенном и переработанном виде

---

257 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 69

На полях рукою Толстого помечено: Что въ скобкахъ, того не нужно.

составляющая X главу IV ред. Наиболее существенным отличием ее во II ред. является место, исключенное в последующих редакциях и находящееся во II ред. после фразы:

> Впрочемъ все шло къ его самоувѣреннымъ движеніямъ, большому росту, сильному сложенію и плѣшивой головѣ.[258]

Помещаем это место в вариантах. *(См. вариант № 6.)* После этого идет о чувствительности папа (что есть и в IV ред., в указанном абзаце X гл.), а затем идет место, отсутствующее в IV ред. и соответствующее абзацам IV главы III ред., начиная с абзаца: «Только тот, кто не живал…» и до конца главы. *(См. вариант № 7.)* Оно в общем близко к тексту III ред., но в последней подверглось некоторой переработке — в некоторых местах сокращено, в других — развито подробнее. Далее во II ред. идет абзац о любви папа к музыке, близкий тому, что имеется об этом в IV ред. (в указанном абзаце), с тем лишь отличием, что во II ред. сказано, что папа «напевал, аккомпанируя

---

258 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 70

В X главе IV ред. эта фраза (в несколько измененном виде) находится в абзаце: «Он умел взять верх».

себе некоторые мотивы из опер: «Роберта», «Цампы» и «Двух Слепцов», ставя на одну доску «Двух Слепцов» и «Роберта», по мнению папа, «лучшую оперу, которую он когда-либо слышал». Кончается характеристика папа во II ред. следующими словами:

> Как и всѣ люди прошлаго Александровского вѣка, – вѣка великихъ переворотовъ и событій, которыя живутъ въ нынешнем, онъ съ гордостью и даже нѣкоторымъ презрѣніемъ смотрѣлъ на спокойствіе нынѣшняго. Онъ носилъ общій имъ характеръ внѣшняго благородства, устарѣлаго волокитства и смѣлости. Жизнь клубная, игорная и помѣщичья тоже оставила на немъ свой отпечатокъ.
>
> Вотъ понятіе, которое я составилъ себѣ объ отцѣ впослѣдствіи.

Этим местом в переработанном виде начинается X глава IV ред.

В III ред. этой главе соответствует «Глава 4-я. Что за человѣк был мой отец?» Она дает текст более пространный, чем X глава IV ред. Помещаем в вариантах 4-ю главу III ред. полностью. *(См. вариант № 7.)*

XI глава «Занятия в кабинете и гостиной». В I ред. соответствующего этой главе места нет, но на стр. 45 по написанному наискось написано: «Занятия в кабинете. Запах. Maman играет. Любочка вяжет рогульку», т. е. намечены темы для разработки текста, причем «запах» означает «запах пыли», о чем см. во втором абзаце вар. № 8.

Во II ред. этой главе соответствуют главы: «<Глава 9-я. Любочка. Музыка. Отступление.> и «Любочка 12 Г[лава]». Здесь нет того, что рассказано в первом абзаце XI главы IV ред., зато, вместо второго абзаца XI гл. IV ред., имеется большое рассуждение. Помещаем 9-ю главу II ред. с начала ее в вариантах. *(См. вариант № 8.)* В названном Толстым романе Бальзака «Histoire de la grandeur et la décadence de César Birotteau» («История величия и падения Цезаря Биротто») место, о котором говорит Толстой, находится в самом конце I части «César à son apogée» («Цезарь в своем апогее»), только там речь идет не о сонате Бетховена, а об его пятой симфонии.

Сравнение луны над колокольней с точкой над і принадлежит не Ламартину, а Альфреду Мюссе в его «Балладе о луне». Это рассуждение о музыке в рукописи не зачеркнуто, но тем не менее после напечатанного в вариантах (№ 8) идет

второй вариант, указывающий на то, что автор, недовольный длинным отступлением, решил сделать краткое. Помещаем и его в вариантах. *(См. вариант № 9.)* После рассуждения о музыке во II ред. идет:

> Maman играла славно: не стучала изъ всѣхъ силъ, какъ теперешнія музыкантши, не держала педаль при перемѣнѣ гармоніи, не дѣлала arpeggio[259] тамъ, гдѣ не нужно, не задерживала такту, не прибавляла своихъ фіоритуръ, вообще играла и сидѣла за роялемъ просто, безъ аффектаціи, поэтому-то мнѣ игра ея чрезвычайно нравилась. <У дѣтей чувство прекраснаго вѣрнѣе, чѣмъ у взрослыхъ.>

После этого идет: «Против меня была дверь в кабинет», то есть то, что́ имеется в третьем абзаце IV ред. (Во II ред. незначительные отличия от текста IV ред.) Затем идет: «Любочка. 12 Г[лава]». Это название вписано позднее, а во время писания этого места оно не составляло отдельной главы. Содержание этой главы составляют рассказ о том, как Любочка расшибла себе нос (этого эпизода

---

259 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 71

[Арпеджо — звуки аккорда, следующие один за другим.]

в IV ред. нет); приход папа, разговор с maman о Карле Ивановиче; папа с Любочкой просят прощение и приход Гриши. Из всего этого в IV ред. есть разговор папа с maman о Карле Ивановиче, его счет (чего нет во II ред.) и приход Гриши.

В III ред. начало 9-й главы II ред. (кончая словами: «меня в покое») находится в самом конце 9-й главы,[260] а затем идет: «Глава 10-я. <Maman играет.> Музыка». Помещаем ее полностью в вариантах. *(См. вариант № 10.)* После этого идет: «Глава 11-я[261] Любочка», близкая по тексту соответствующему месту II ред. Помещаем полностью в вариантах и эту главу. *(См. вариант № 11.)*

XII глава «Гриша». В I ред. этой главе соответствуют 44 — 49 стр., дающие более пространный текст, чем текст IV ред.

Во II ред. этой главе соответствует «Глава 10-я. Гриша» и «Глава 11-я. В чулане». Текст X главы близок к тексту XII главы IV ред., глава же XI гораздо пространнее излагает то, что́ изложено в последних двух абзацах XII главы IV ред. и, таким

---

260 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 72

В сочинениях гр. Л. Н. Толстого. Изд. XII. М. 1911. Часть 1-я эта глава разбита на две (9-ю и 10-ю), что не соответствует рукописи, где 10-я глава — «Музыка», а особой главы 10-й издания 1911 г. нет — она составляет в рукописи вторую половину 9-й главы «Что-то в роде первой любви».

261 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 73

Первоначально было написано «12», но потом переделано на «11».

образом, ближе к соответствующему месту I ред.

В III ред. этой главе соответствуют также две главы: «Глава 12-я.[262] Гриша» и «Глава 13-я.[263] В Чулане». Обе главы очень близки по тексту к главам X и XIII ред. Перед XIII главой (III ред.) имеется помета рукой Толстого: «(Оставить место на 5 строк)», т. е. сократить всю главу до 5 строк, что почти буквально и было сделано в IV ред.

О работе над этой главой (в период работы над III ред.) имеются такие записи в дневнике под 1 апреля: «Писал главу о *молитве*, шло вяло… Писал, писал, наконец, стал замечать, что рассуждение о молитве имеет претензию на логичность и глубокость мыслей, а не последовательно. Решился покончить чем-нибудь, не вставая с места, и сейчас сжег половину — в повесть не помещу, но сохраню, как памятник».

Эта запись объясняет вышеприведенную помету в рукописи III ред.

XIII глава «Наталья Савишна». В I ред. нет соответствующего этой главе места.

Во II ред. этой главе соответствует «Глава 13-я. Наталья Савишна», очень близкая к ней по тек-

---

262 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 74
Было сначала написано: «13», но потом исправлено на «12».

263 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 75
Было сначала написано: «14», но потом исправлено на «13».

сту. Здесь (во II ред.) место рождения Натальи Савишны не Хабаровка, а село Андреевское; отец ее кларнетист не Савва, а Савелий, хотя в заглавии главы стоит: «Савишна»; дедушка ссылает Нат. Сав. «в деревню Березовку». В конце главы:

> Наталья Савишна скоро вернулась, держа въ рукѣ корнетъ, сдѣланный изъ красной бумаги, въ которомъ были двѣ черносливины и одна карамелька. Когда я послѣ показалъ этотъ корнетъ мамашѣ, она узнала его и сказала, что онъ былъ съ ёлки, которую сдѣлалъ для нее дѣдушка, когда ей было 8 лѣтъ.

Слов, начиная со слова «Когда», нет в других редакциях.

В III ред. этой главе соответствует очень близкая к ней но тексту «Глава 14-я.[264] Наталья Савишна». Здесь уже «Хабаровка», кларнетист Савва, но еще есть название деревни «Березовка».

Глава XIV «Разлука». В I ред. этой главе соответствуют 49–51 страницы, дающие в зачаточном виде текст XIV главы IV ред.

Во II ред. этой главе соответствует «Глава 12-я

---

264 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 76
Сначала было написано «15», но потом исправлено «14».

Разлука». Здесь нет первых четырех абзацев IV ред.; в остальном текст II ред. близок к тексту IV ред.

В III ред. этой главе соответствует «Глава 15-я.[265] Разлука», очень близкая по тексту к IV ред.

Глава XV «Детство». В I ред. только последней трети этой главы (начиная с абзаца: «После молитвы») соответствует 10-я страница, где лишь намечено то, что имеется в IV ред.

Во II ред. этой главе соответствует глава без номера: «Отступление. Детство. Глава». По тексту она близка к XV гл. IV ред.

В III ред. этой главе соответствует «Глава 16-я.[266] Детство», очень близкая по тексту к IV ред.

Глава XVI «Стихи». В I ред. нет соответствующего этой главе места.

В II ред. этой главе соответствует «Глава 14. Стихи». При этом заглавии есть еще помета: «2-й день». По тексту она близка к XVI гл. IV ред., но между абзацам (IV ред.) «Бабушка была уже в зале» и следующим: «Когда стали подходить к кресту» здесь имеется: «Описание бабушки, ее жизни и страстной любви к maman», как поме-

---

265 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 77
Сначала было написано «16», но потом исправлено «15».

266 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 78
Сначала было написано «17», но потом исправлено «16».

чено Толстым на полях. Помещаем это место в вариантах. *(См. вариант № 12.)* Кроме этого, после абзаца IV ред., в конце главы: «Коробочка, рисунок и стихи» во II ред. идет:

> Съ этой минуты я поклялся никогда не писать стиховъ. Они поставили меня въ самое ужасное положеніе въ продолженіе $^1/_4$ часа и заставили меня написать ложь, лесть *и* подлость, за которыя совѣсть никогда не перестанетъ мучить меня.

Абзац IV ред.: «В эту минуту я тоже думал» здесь начинается так:

> Въ эту минуту я тоже думалъ, что «лучше бы было головку», чѣмъ то, надъ чѣмъ я трудился. Въ тотъ вечеръ, какъ намъ объявили, что будутъ бабушкины имянины, и что нужно, чтобы каждый изъ насъ приготовилъ подарокъ, я думалъ о томъ, что пора бы перемѣнить свѣчку, которая догорала въ подсвѣчникѣ, «огарокъ и подарокъ это—стихи, подумалъ я, и я для бабушки напишу стихи». Поэтому я отвѣчалъ, что знаю, что я поднесу бабушкѣ, но не скажу.

Начиная со слов: «я думал о том» и кончая: «напишу стихи» нет в других редакциях.

Во II ред. нет указания (перед стихами Карла Ивановича) на то, что образцов для стихов рассказчик искал у Дмитриева и Державина, но после стихов Карла Ивановича идет:

> Прежде, принимая за образецъ стихи изъ <Кавказскаго плѣнника> печатныхъ книгъ, я видѣлъ ясно, что въ тѣхъ, которые я придумывалъ, чего-то недоставало.

В III ред. этой главе соответствует «Глава 17-я.[267] Стихи». При заглавии есть еще зачеркнутая помета: «<Второй день>». Текст III ред. ближе к тексту IV ред., чем текст II ред. Здесь нет характеристики бабушки и других указанных отличий II ред. Вместо сочинений Дмитриева и Державина здесь названы Пушкин и Державин.

Глава XVII «Княгиня Корнакова». В I ред. нет соответствующего этой главе места.

Во II ред. этой главе соответствует «Глава 15-я. Княгиня Корнакова», но перед этой главой имеется глава без номера: «О свете», заключающая в себе рассуждение; о «злодеях» романов и харак-

---

267 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 79
Сначала было написано «18», но потом исправлено «17».

теристику князя Ивана Ивановича. Помещаем в вариантах первую часть этой главы (до характеристики кн. Ив. Ив.) *(См. вариант № 13.)* Глава XV II ред. начинается иначе, чем XVII IV ред. Помещаем это начало в вариантах. *(См. вариант № 14.)*

На странице, где находится начало XV главы, поверх написанного, имеются такие пометы:

> Перемѣнить описаніе бабушки – серьезная мина, привычки. Княгиню К[орнакову] – перемѣнить. – А. А.,К[нязь] И[ванъ] И[вановичъ]. Краткой очеркъ жизни и характера. Кукурузовъ [—] Новосильцевъ – умной, потому что дурной. Алишкѣева: дама съ Петерб[ургскимъ] рѣзкимъ тономъ. – В. грустная, съ выплаканными глазами. Каратовъ. Саша В. баринъ съ перстнемъ Г. Г. И. <Еще молодой человѣкъ род.>. Родственница – [*1 неразобр.*] Образъ жизни б[абушк]и и мой. Князья – не злые люди, и описываю но большой свѣтъ. Что такое по моему большой свѣтъ, и что такое хорошій и дурной кругъ?

Значение большинства помет делается ясным из дальнейшего текста II ред. (см. вар. № 17 и здесь гл. XXI.) «А. А.» вероятно означает: «Александра

Алишкеева».

После приведенного в вариантах начала XV главы идет описание наружности княгини Корнаковой, которым начинается XVII глава IV ред., и дальше близко к тексту IV ред., кончая словами папа: «А этот, маленький, с вихрами», — отвечал папа, весело улыбаясь», после чего во II ред. идет:

> «А», сказала княгиня и стала разспрашивать про maman. Я посмотрѣлся въ зеркало, и дѣйствительно, <вихры торчали>.

После этого во II ред. идет «Глава 16-я. Что я увидал в зеркале, и секли ли нас в детстве?» Помещаем ее полностью в вариантах. *(См. вариант № 15.)* Рассуждения «о том, секли ли нас» в рукописи II ред. нет, но оно имеется в автографе на отдельном листке, текст которого и помещаем в вариантах. *(См. вариант № 16.)*

В III ред. этой главе соответствует «Глава 18-я.[268] Княгиня Корнакова». Текст ее тот же (с незначительными отличиями), что и текст XV и

XVI глав II ред., но без рассуждения «о том, сек-

---

268 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 80

Сначала было написано «19», но потом исправлено «18».

ли ли нас».

Глава XVIII «Князь Иван Иваныч». В I ред. соответствующего этой главе места нет.

Во II ред. этой главе соответствует «Глава 17-я. Князь Иван Петрович», но с большим отступлением в начале: вместо первых двух абзацов XVIII главы IV ред., во II ред., согласно вышеприведенной помете, выведен ряд лиц, совершенно потом исключенных. Помещаем начало

XVII главы II ред. в вариантах. *(См. вариант № 17.)* В этом варианте текст со слов: «В числе последних был один», кончая: «ежели с таким некрасивым лицом доволен собою» имеется на отдельном листке и представляет собою позднейшую редакцию места, первоначально (в рукописи II ред.) читавшегося:

> <Въ числѣ этихъ былъ одинъ среднихъ лѣтъ человѣкъ, полненькій, розовенькой, съ русыми приглаженными волосами, съ двумя пуговками на одной фалдѣ фрака и съ 2-мя. блестящими самодовольствіемъ черными глазками и съ чрезвычайно пріятной улыбкой. Онъ поразилъ меня, какъ только взошелъ. Голову онъ держалъ, закинувъ назадъ, ногами нѣсколь-

ко шаркалъ, улыбкой ласкалъ. Общій видъ его былъ такой, что онъ, казалось, говорилъ: «вотъ и я взошелъ», но, къ несчастію, во время его появленія бабушка заговорилась съ Алишкѣевой, и онъ 2 раза долженъ былъ повторить привѣтствіе, но улыбка его отъ этаго нисколько не потеряла своей прелести.) Он мнѣ очень понравился.

После приведенного в вариантах (вар. № 17) во II ред. идет: «В это время взошел в комнату маленькими шажками человек в военном мундире, с орденом, высокий, статный, без усов, седой и плешивый», т. е. кн. Иван Иванович. Характеристика кн. Ивана Ивановича, которой в IV ред. посвящены три абзаца, имеется во II ред. в главе (без номера): «О свете» (см. здесь о XVII гл.), где эта характеристика (в более кратком виде, чем в IV ред.) идет вслед за текстом вар. № 13, в главе же XVII далее идет текст, соответствующий второй части XVIII главы IV ред., начиная с абзаца: «Я не могу наглядеться на князя» и до конца. Текст этого места во II ред. близок к тексту IV ред., кроме конца главы, который помещаем в вариантах и который идет после заключительных слов XVII

главы IV ред. *(См. вариант № 18.)*

В III ред. этой главе соответствует «Глава 19-я.[269] Князь Иван Иванович». Текст ее близок к тексту IV ред., не имея характеристики других гостей бабушки, т. е. текста вар. № 17; характеристика Ив. Ив. из главы II ред. «О свете» введена в текст этой (XIX-ой III ред.) главы, но текст вар. № 18 имеется в несколько другой редакции.

XVIII глава II ред. носит название «Прогулка». Глава эта отсутствует во всех других редакциях. Помещаем ее полностью в вариантах. *(См. вариант № 19.)*

XIX глава II ред. носит название «Обед» и тоже отсутствует во всех редакциях. Помещаем и ее полностью в вариантах. *(См. вариант № 20.)*

Глава XIX «Ивины». В I ред. соответствующего этой главе места нет.

Во II ред. тоже нет этой главы, но содержание ее намечено в помете Толстого на странице с текстом XIX главы, где говорится о том чувстве обожания, которое испытывал Николенька к младшему Ивину:

Любовь къ Ивинымъ съ мечтами,

---

269 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 81
Сначала было написано «20», но потом исправлено «19».

надеждами и слезами. Эпизодъ съ И[линьк]ою, драка, есть слова, которыя всегда можно говорить, никогда, и одинъ разъ. Злоба П—а тонкія губы, привычка ковырять въ носу.

Характеристика гувернера Ивиных имеется во II ред. в главе XXI.

В III ред. этой главе соответствует близкая к ней по тексту «Глава 20.[270] Ивины». Существенным отличием ее от текста XIX главы IV ред. является то, что, вместо последних двух абзацев последней, имеется рассуждение о детской психологии, которое даем в вариантах. *(См. вариант № 21.)*

Глава XX «Собираются гости». В I ред. соответствующего этой главе места нет.

Во II ред. этой главе соответствует «Глава 20-я. Сбираются гости». В общем текст ее близок к тексту IV ред., наиболее же существенные отличия такие: 1) В описании, как снимали шубы г-жа Валахина и Сонечка есть такое место:

Она по моимъ догадкамъ должна была быть со мною однихъ лѣтъ и однаго роста, но

---

270 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 82
Сначала было написано «21», но потом исправлено 20».

Bon Dieu, combien elle est jolie,
Et moi je suis, je suis si laid.[271]

Я привожу эти два стиха изъ пѣсни Беранже, потому что, при первомъ взглядѣ на нее, мнѣ пришло въ голову имянно это грустное сравненіе.

2) После описания наружности Сонечки было рассуждение о телосложении людей, близкое по мыслям к тому, что говорится об этом же на стр. 3 — 5 рукописи I ред., но гораздо короче, чем в I ред.

3) После слов бабушки к Сонечке (абзац IV ред.: «Надеюсь, ты не будешь») идет о Валахиной, помещаемое нами в вариантах. *(См. вариант № 22.)*

Наконец, отметим еще, что сын Корнаковой во II ред. назван Сережей.

В III ред. этой главе соответствует «Глава 21. Собираются гости», имеющая эпиграф :

Bon Dieu, combien elle est jolie
Et moi, je suis, je suis si laid

Beranger.

---

271 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 83

[Мой Бог, как она красива, а я, я так дурен. Стихи из стихотворения Беранже «Qu'elle est jolie» («Как она красива»)].

По тексту она близка ко II и IV ред., кроме начала главы, в III ред. более разработанного, чем во II и IV ред.: первому абзацу IV ред. здесь соответствуют четыре, которые и помещаем в вариантах. *(См. вариант № 23.)*

Глава XXI «До мазурки». В I ред. соответствующего этой главе места нет.

Во II ред. этой главе соответствует первая половина главы XXI «Бал». В общем текст ее близок к тексту XXI главы IV ред., кроме начала, которое помещаем в вариантах. *(См. вариант № 24.)* Вслед за помещенным в вариантах идет характеристика гувернера Ивиных, близкая по тексту к той, которая дана в абзаце: «Herr Frost» IV ред. Разговор с Сонечкой во время кадрили здесь более развит, чем в IV ред.; молодой человек, у которого Николенька отбил даму, здесь назван Каратовым, а «большая девица», — это — Sachinette Алишкеева, описанная в XVII главе (II ред.); наконец, после места, соответствующего последнему абзацу XXI главы IV ред., во II ред. идет абзац, который помещаем в вариантах. *(См. вариант № 25.)*

В III ред. этой главе соответствует «Глава XXII. Бал — до мазурки». По тексту она близка ко II и IV ред., при чем начало ее то же, что *и* во II ред., но характеристики гувернера Ивиных нет (она

имеется в главе XX, соответствующей XIX главе IV ред.) и вообще нет указанных отличий II ред.

Глава XXII «Мазурка». В I ред. нет соответствующего этой главе места.

Во II ред. этой главе соответствует вторая половина XXI главы. Текст ее близок к тексту IV ред., но несколько пространнее.

В III ред. этой главе соответствует «Глава XXIII. Мазурка». Текст ее с незначительными отличиями тот же, что и текст второй половины XXI главы II ред.

Глава XXIII «После мазурки». В I ред. нет соответствующего этой главе места.

Во II ред. этой главе соответствует глава без номера «После мазурки». Вместо первых абзацев IV ред. (до абзаца «Выпитое вино» исключительно), во II ред. имеется помещаемое нами в вариантах. *(См. вариант № 26.)* В остальном текст II ред. близок к тексту IV ред., но пространнее последней.

В III ред. этой главе соответствует «Глава XXIV. После мазурки», с незначительными отличиями дающая тот же текст, что и глава «После мазурки» II ред.

Глава XXIV «В постели». В I ред. нет соответствующего этой главе места.

Во II ред. этой главе соответствует XXII глава «В

постели». Текст ее сильно отличается от текста XXIV главы IV ред. Помещаем ее полностью в вариантах. *(См. вариант № 27.)*

В III ред. этой, главе соответствует «Глава XXV. В постеле». Текст ее тот же, с незначительными изменениями, что и XXII главы II ред., но эпизод с Карлом Ивановичем зачеркнут.

Глава XXV «Письмо». В I ред. этой главе соответствуют страницы 50 — 60 и 61а. Здесь текст письма maman довольно близок к тексту письма (на русском языке) IV ред., но французского письма нет.

Записка Мими по тексту отлична от IV ред.

Во II ред. этой главе соответствует «глава 23-я. Письмо от 12 апреля. Петровское». Здесь русское письмо значительно обширнее текста IV ред. Наиболее существенным отличием II ред. от IV является место о воспитании детей: двум абзацам IV ред.: «Ты пишешь мне еще о детях» и следующему во II ред. соответствует место, помещаемое нами в вариантах. *(См. вариант № 28.)* Вслед за письмом на русском языке во II ред. идет текст письма на французском языке. Поперек страницы французского текста помета Толстого: «перевести по-русски». Согласно этой помете, вслед за французским текстом идет перевод письма на

русский язык. Текст его в общем довольно близок к тексту (данному только на русском языке) IV ред. После текста перевода письма во II ред. идет глава под заглавием: «Продолжение 23-й главы». Помещаем начало ее в вариантах». *(См. вариант № 29.)* Помещенное нами в вариантах зачеркнуто. После этого во II ред. идет место, соответствующее последним абзацам XXV главы IV ред. (после записки Мими), а затем еще два абзаца, даваемые нами в вариантах. *(См. вариант № 30.)*

В III ред. этой главе соответствует «Глава XXVI. <Окончание детства> Письмо». Здесь текст первого письма в общем ближе к тексту II ред., чем IV ред., в частности, место о воспитании детей в учебных заведениях так же пространно, как и во II ред., но несколько отличается от него по тексту. Вслед за письмом на русском языке идет текст перевода французского письма, очень близкий к тексту IV ред.; затем идет записка Мими на французском языке (без перевода). Текст ее тот же, что и IV ред. (где только перевод). Окончание главы такое же, как и в IV ред.

Глава XXVI «Что ожидало нас в деревне». В I ред. этой главе соответствуют страницы 63—66. В общем текст здесь близок к тексту IV ред.

Во II ред. этой главе соответствует первая часть

главы XXIV «Горе», начинающейся так: «18 Апреля (в большой книге от стр. 63 до стр. 68 и вложенный листок)», т. е. сделана ссылка на рукопись I ред., где на указанных страницах и находится то, что должно было составить первую часть XXIV главы II ред.

В III ред. этой главе соответствует «Глава XXVII. <Горе>. Что ожидало нас в деревне». Текст ее тот же, с незначительными отличиями, что и текст XXVI главы IV ред.

Глава XXVII «Горе». В I ред. этой главе соответствуют страницы 66—68. Текст их является как бы конспектом XXVI главы IV ред.

Во II ред. этой главе соответствует вторая часть XXIV главы, т. е. текст I ред со слов: «Помню я, как на второй день»... (стр. 66) и кончая словами: «оторвать глаз от него (начало 67 стр.). Текст же I ред. со слов: «Я смотрел, смотрел...», зачеркнутый в I ред. и дальше, со слов: «Было 12 часов» имеется во II ред. в переработанном виде. Здесь (во II ред.) он соответствует 4-му, 5-му и 6-му абзацам XXVII главы IV ред., будучи к ним близок. Затем во II ред. идет текст тот же, что и в I со слов: «Было 12 часов...,» кончая словами: «что не я один бесчувствен».

У последнего слова в рукописи I ред. стоит знак

вставки, которая имеется в рукописи II ред. Текст этой вставки соответствует тексту в IV ред. со слов: «Мими стояла, прислонившись…» (8-й абзац XXVII гл.), кончая 11-м абзацем («Вот кто истинно любил ее!…»). Текст во II ред. близок этому тексту IV ред., но несколько пространнее.

В III ред. этой главе соответствует «Глава XXVIII. Горе». Текст ее тот же, что и XXVII IV ред.

Глава XXVIII «Последние грустные воспоминания». В I ред. соответствующего этой главе места нет.

Во II ред. этой главе соответствует «Глава 25-я. <Что было после>. Некоторые подробности». Текст ее очень близок к тексту XXVIII главы IV ред. Наиболее существенные отличия имеются в начале и в конце. Первым двум абзацам IV ред. соответствуют два абзаца II ред., помещаемые нами в вариантах. *(См. вариант № 31.)* Вместо последнего абзаца IV ред. во II ред. имеется заключение, помещаемое нами в вариантах. *(См. вариант № 32.)*

В III ред. этой главе соответствует «Глава XXIX. Еще Наталья Савишна. Еще, но последние грустные воспоминания». Текст ее тот же, что и в IV ред., с незначительными отличиями. Вар. № 32 здесь нет.

Во II ред. было еще две главы: «К читателям» и «К тем Господам критикам, которые захотят принять ее на свой счет». О рукописях этих глав см. в описании рукописей. Текст обеих глав помещаем в вариантах. *(См. варианты № № 33 и 34.)*

ИСТОРИЯ ПЕЧАТАНИЯ «ДЕТСТВА» В «СОВРЕМЕННИКЕ».

В дневнике Толстого от 2 июля 1852 г. записано: «… написал черновое письмо Редактору», т. е. Н. А. Некрасову. На следующий день опять запись: «… написал письмо Редактору». Письмо это сохранилось. Вот что писал Толстой Некрасову, посылая ему «Детство»:

3-го Июля 1852-го года.

Милостивый Государь!

Моя просьба будет стоить вам так мало труда, что я уверен вы не откажетесь исполнить ее. Просмотрите эту рукопись и, ежели она не годна к печатанию, возвратите ее мне. В противном же случае оцените ее, вышлите мне то, что она стоит по вашему мнению, и напечатайте в своем журнале. Я вперед соглашаюсь на все сокращения, которые вы найдете нужным сделать в ней, но желаю, чтобы она была напечатана без прибавлений и перемен.

В сущности рукопись эта составляет I-ю часть романа — Четыре эпохи развития; появление в свет следующих частей будет зависеть от успеха первой. Ежели по величине своей она не может быть напечатана в одном нумере, то прошу разделить ее на три части: от начала до главы 17-ой, от главы 17-ой до 26-ой и от 26-ой до конца.

Ежели бы можно было найти хорошего писца там, где я живу, то рукопись была бы переписана лучше, и я бы не боялся за лишнее предубеждение, которое вы теперь непременно получите против нее.

Я убежден, что опытный и добросовестный редактор — в особенности в России — по своему положению постоянного посредника между сочинителями и читателями всегда может вперед определить успех, сочинения и мнения о нем публики. Поэтому я с нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все начатое.

С чувством совершенного уважения, имею честь быть,

Милостивый Государь, ваш покорнейший слуга

Л. Н.

Адрес мой: через город Кизляр в станицу Старогладковскую, Поручику артиллерии Графу Николаю Николаевичу Толстому с передачею Л. Н. — Деньги для обратной пересылки — вложены в письмо.[272]

Письмо это, написанное тщательным почерком, вероятно, рукою писаря, и рукопись «Детства» были посланы Некрасову не позднее числа 6 июля и вероятно 3-го (дата письма), так как уже 26 июля Т. А. Ергольская писала Толстому: «Наконец, мой милый, *работа Пенелопы* окончена; твой роман написан и отправлен в Петербург. Под каким названием должен он появиться и на каком языке он написан? Горю нетерпением узнать это, еще бóльшим нетерпением горю прочесть его. Желаю тебе полного успеха». (Оригинал, хранящийся в архиве Толстого, по-французски.) Так как письмо с Кавказа шло в Тульскую губернию недели три, то письмо Ергольской от 26 июля

---

272 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 84

Печатаем по подлиннику, хранящемуся в Публичной библиотеке им. Ленина в Москве. Впервые письмо напечатало в книге: «Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову». Примечания составил Н. Ашукин. М. Изд. К. Ф. Некрасова. 1916, стр. 185—186. В верху письма Некрасовым сделана пометка: «При этом письме прислана повесть «Детство». Автор гр. Лев Толстой». Помета эта сделана Некрасовым значительно позже, как уже указал Н. С. Ашукин (см. указ. книгу, стр. 298).

служит ответом на письмо Толстого от 4 июля. Под этим числом в дневнике Толстого записано: «… написал письма… Татьяне Александровне».

Получив рукопись и письмо Толстого, Некрасов ответил ему в первых числах августа таким письмом:

Милостивый Государь!

Я прочел Вашу рукопись (Детство). Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет поболее живости и движения, то это будет хороший роман. Прошу вас прислать мне продолжение. И роман ваш, и талант меня заинтересовали. Еще я посоветовал бы вам не прикрываться буквами, а начать печататься прямо с своей фамилией, если только вы не случайный гость в литературе. Жду вашего ответа.

Примите уверение в истинном моем уважении.

Н. Некрасов.[273]

Это письмо Толстой получил 29 августа в Старогладковской, о чем в дневнике записал: «... получил письмо из Петербурга... от Редактора, которое обрадовало меня до глупости. О деньгах ни слова. Завтра писать письма : Некрасову...»

Не дождавшись от Толстого ответа на свое первое письмо, Некрасов послал ему второе (от 5 сентября), в котором, извещая Толстого, что повесть его напечатана в IX книжке «Современника», которая «завтра выйдет», прибавлял, что, «прочитав внимательно в корректуре, а не в слепо написанной рукописи, нашел, что эта повесть гораздо лучше, чем показалось мне с первого раза... Из нее кое-что исключено (немного, впрочем)... Не прибавлено ничего». В приписке Некрасов снова просит сообщить фамилию автора, что нужно «и по правилам нашей цензуры».[274]

Цензурное разрешение IX книжки «Современника» было подписано В. Н. Бекетовым 31 августа, а 6 сентября, судя по словам Некрасова в при-

---

273 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 85

Литературные приложения «Нивы» 1898, № 2 (февраль), стр. 340. Письмо без даты.

274 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 86

Литер. прил. «Нивы», 1898, № 2, стр. 340—341.

веденном письме, книжка вышла в свет. Текст «Детства» занимает здесь 5—104 страницы, имеет заглавие «История моего детства» и подписан буквами: Л. Н.

Некрасову на его первое письмо Толстой ответил 5 сентября, как отмечено в его дневнике под этим числом: «Написал письмо к Некрасову» письмом такого содержания:

Милостивый Государь.

Меня очень порадовало доброе мнение, выраженное Вами о моем романе; тем более, что оно было первое, которое я о нем слышал, и что мнение это было, именно, Ваше. Несмотря на это, повторяю просьбу, с которой обращался к Вам в первом письме моем: оценить рукопись, выслать мне деньги, которые она стоит по вашему мнению, или прямо сказать мне, что она ничего не стоит. —

Принятая мною форма автобиографии и принужденная связь последующих частей с предъидущею так стесняют меня, что я часто чувствую желание бросить их и оставить 1-ую без продолжения. —

Во всяком случае, ежели продолжение будет окончено, и как скоро оно будет окончено, я пришлю его Вам. —

В ожидании Вашего ответа, с истинным уважением, имею честь быть,

Милостивый Государь,

Ваш покорный слуга

Л. Н.

Адрес: В г. Кизляр. Графу Николаю Николаевичу Толстому, с передачею Л. Н.

15 сентября

1852.[275]

Второе письмо Некрасова (от 5 сентября) Толстой получил 30 сентября, о чем записано в дневнике: «... получил письмо от Некрасова — похвалы, но не деньги».

На второе письмо Толстого, Некрасов ответил лишь 30 октября. В письме этом редактор «Современника» объясняет, почему он умолчал в своих прежних письмах о гонораре : «в лучших наших журналах издавна существует обычай *не платить за первую* повесть начинающему автору, которого журнал впервые рекомендует

---

275 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 87

Печатаем по подлиннику, хранящемуся в Публичной библиотеке им. Ленина в Москве. Впервые напечатано в книге: «Архив села Карабахи», стр. 186—187 Дата письма — «15 сентября» расходится с записью дневника 5 сентября я потому означает дату отсылки письма, написанного 5 сентября.

публике… Я предлагаю Вам то же, с условием, что за дальнейшие Ваши произведения прямо назначу вам лучшую плату, какую получают наши известнейшие (весьма немногие) беллетристы, т. е. 50 р. сер. с печатного листа. Я промешкал писать Вам еще и потому, что не мог сделать Вам этого предложения ранее, не проверив моего впечатления судом публики: этот суд оказался как нельзя более в вашу пользу».

«Я хотел», пишет Некрасов в конце письма, «выслать Вам IX № «Совр.», но, к сожалению, забыл распорядиться, чтобы отпечатали лишний, а у нас весь журнал за этот год в расходе».

Наконец, в приписке к письму Некрасов в третий раз просит сообщить фамилию автора.[276]

Итак, своего обещания выслать номер «Современника» с «Детством», сейчас же по выходе его в свет, Некрасов не исполнил, и лишь 31 октября Толстой записывает в дневнике: «Прочел свою повесть, изуродованную до крайности».

Изменения в тексте повести, вызванные цензурными требованиями, о чем глухо упоминал Некрасов в своем письме от 5 сентября, возмутили Толстого. Через неделю после прочтения повести,

---

276 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 88
Литер. прилож. «Нивы», 1898, № 2. стр. 341—342.

8 ноября, он в дневнике записывает: «написал письмо Редактору, которое успокоило меня, но которое не пошлю». 17 ноября снова запись: «Еще раз писал письма Дьякову и Редактору, которые опять не пошлю. Редактору слишком жестко, а Дьяков не поймет меня».

Это «слишком жесткое» письмо еще не было опубликовано; оно сохранилось в архиве Толстого. Вот что сгоряча писал Толстой:

18 Ноября

1852.

Милостивый Государь!

С крайним неудовольствием прочел я в IX № Современника *повесть* под заглавием *История моего детства* и узнал в ней *роман «Детство»*, который я послал вам. Первым условием к напечатанию поставлял я, чтобы вы *прежде оценили рукопись и выслали мне то, что она стоит по вашему мнению*. Это условие не исполнено. Вторым условием — чтобы ничего не изменять в ней. Это условие исполнено еще менее, вы изменили все, начиная с заглавия. Прочитав с самым грустным чувством эту жалкую изуродованную повесть, я старался открыть причины, побудившие редакцию так безжалостно поступить с ней. Или редакция положила *себе* задачею: как

можно хуже изуродовать этот роман, или бесконтрольно поручила корректору его совершенно безграмотному Сотруднику. —Заглавие *Детство* и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения; заглавие же *История моего детства* противоречит с мыслью сочинения. Кому какое дело до истории *моего* детства?.. *Портрет моей маменьки* вместо *образка моего ангела* на первой странице такая перемена, которая заставит всякого порядочного читателя бросить книгу, не читая далее. Перечесть всех перемен такого рода нет возможности и надобности; но не говоря о бесчисленных обрезках фраз без малейшего смысла, опечатках, неправильно переставленных знаках препинания, дурной орфографии, неудачных перемен слов: *дышать*, вместо *двошатъ* (о собаках); *в слезах пал на землю*, вместо *повалился* (падает скотина), доказывающих незнание языка, замечу одну непостижимую для меня перемену. Для чего выпущена вся история любви *Натальи Савишны*, история, обрисовывавшая ее, быт старого времени и придававшая возможность и человечность этому лицу. *Она даже подавила любовь к официанту Фоке.* Вот бессмысленная фраза, заменяющая это место. Слово delire в записке Мими переведено *горячность*.

Чугунная доска, в которую бьет караульщик, заменена *медной*. Непостижимо. — Скажу только, что, читая свое произведение в печати, я испытал то неприятное чувство, которое испытывает отец при виде своего любимого сына, уродливо и неровно обстриженного самоучкой-парикмахером. «Откуда взялись эти плешины, вихры, когда прежде он был хорошенький мальчик». Но мое дитя и было не очень красиво, а его еще окорнали и изуродовали. — Я утешаюсь только тем, что имею возможность напечатать с своею фамилиею весь роман отдельно и совершенно отказаться от повести *История моего детства*, которая по справедливости принадлежит не мне, а неизвестному сотруднику вашей редакции.

Имею честь быть, Милостивый Государь,

ваш покорнейший слуга

Л. Н.

Письмо Некрасова от 30 октября Толстой получил 26 ноября, когда в дневнике записал: «… получил письмо от Некрасова. Мне дают 50 р. сер. за лист, и я хочу, не отлагая, писать рассказы о Кавказе; начал сегодня. Я слишком самолюбив, чтобы написать дурно, а написать еще хорошую вещь, едва ли меня хватит».

В ответ на следующий день Некрасову было написано письмо такого содержания:

Милостивый Государь!

Очень сожалею, что не могу тотчас исполнить вашего желания, прислав что-нибудь новое для напечатания в вашем журнале; тем более, что условия, которые вы мне предлагаете, нахожу для себя слишком выгодными и вполне соглашаюсь на них.

Хотя у меня кое-что и написано, я не могу прислать вам теперь ничего: во-первых, потому, что некоторый успех моего первого сочинения развил мое авторское самолюбие, и я бы желал, чтобы последующие не были хуже первого, во-вторых, вырезки, сделанные цензурой в Детстве, заставили меня во избежание подобных переделывать многое снова. — Не упоминая о мелочных изменениях, замечу два, которые в особенности неприятно поразили меня. Это — выпуск истории любви Натальи Савишны, обрисовывавшей в некоторой степени быт старого времени и ее характер и придававшей человечность ее личности, и перемена заглавия. — Заглавие: *Детство* и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения, заглавие же *История Моего Детства*, напротив, противоречит ей. Кому какое дело до

истории *моего* детства? Последнее изменение в особенности неприятно мне, потому что, как я писал вам в первом письме моем, я хотел, чтобы *Детство* было первой частью романа, которого следующие — должны были быть: Отрочество, Юность и Молодость.

Я буду просить вас, Милостивый Государь, дать мне обещание насчет будущего моего писания, ежели вам будет угодно продолжать принимать его в свой журнал — не изменять в нем ровно ничего. — Надеюсь, что вы не откажете мне в этом. Что до меня касается, то, повторяю обещание прислать вам первое, что почту достойным напечатания.

Подписываюсь своей фамилией, но прошу, чтобы это было известно одной редакции. — С совершенным уважением имею честь быть,

Милостивый Государь,

Ваш покорнейший слуга

Г. Л. Н. Толстой.

P.S. Будьте так добры, пришлите мне экземпляр моей повести, ежели это возможно.[277]

---

277 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 89

Печатаем по подлиннику, хранящемуся в Публичной библиотеке им. Ленина в Москве. Впервые напечатано в книге: «Архив с. Карабахи», стр. 187—189.

«Написал письмо Некрасову и теперь успокоился на этот счет», записано в дневнике 27 ноября.

ИСТОРИЯ ПЕЧАТАНИЯ «ДЕТСТВА» ОТДЕЛЬНЫМ ИЗДАНИЕМ в 1856 г.

Мысль издать «Детство» отдельной книгой под своей фамилией без искажения текста явилась у Толстого сейчас же по прочтении повести в «Современнике», о чем он и писал Некрасову в неотправленном письме от 18 ноября 1852 г. Но едва ли скоро бы удалось осуществить это, если бы не смерть Николая I 18 февраля 1855 г.

Изменившийся с новым царствованием курс внутренней политики правительства позволял надеяться, что теперь удастся провести через цензуру то, чего не пропускали николаевские цензоры. Во время пребывания своего в Петербурге, по приезде из Севастополя (с 21 ноября 1855 г.), Толстой, вероятно, посоветовавшись со знакомыми литераторами, и решил издать отдельными книгами свои произведения, искаженные цензурой в журналах. Это были «Детство», «Отрочество», «Набег», «Рубка лесу», «Севастополь в декабре», «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе». Две первые повести составили одну книгу под заглавием «Детство и

Отрочество», остальные рассказы — другую, под заглавием «Военные рассказы».

Сведения о печатании книги «Детство и Отрочество» имеются в дневнике Толстого и в неопубликованных письмах к нему Д. Я. Колбасина, хранящихся в архиве Толстого.

Под 17 мая 1856 г. (день отъезда Толстого из Петербурга в Москву) в дневнике записано: «Утром пришли… Прац и Колбасин 2-ой, последнему отдал из 10 процентов издание «Детства» и «Отрочества». «Прац» это — Эдуард Прац, владелец типографии, в которой должна была печататься книга, а «Колбасин 2-ой» — Дмитрий Яковлевич Колбасин, старший брат начинавшего литератора Елисея Яковл. Колбасина, ведший в то время издательские дела Тургенева.[278]

Вскоре после отъезда Толстого из Петербурга, 28 мая было подписано В. Н. Бекетовым цензурное разрешение «Детства и Отрочества», о чем и извещал Толстого Колбасин 2 июня: «Вчера я возвратился из Москвы и нашел, к полному своему удовольствию, что «Детство и Отрочество» уже пропущены обязательным Бекетовым без

---

278 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 90

См. «Инструкцию Колбасину» по изданию «Записок Охотника» и «Комедий» Тургенева и «Писем об Испании» Боткина в «Архиве села Карабиха», стр. 276—277.

всяких пропусков… с 6-го числа приступлю к набору «Детства», в котором и *иконка* прошла благополучно» .

В следующем письме (без даты) Колбасин сообщает: «Бумага заказана фабриканту, и Некрасова содействие тут не поможет, тем паче, что у него в настоящее время маловато денег, но я как-нибудь улажу — не беда, если с месяц и подождет, тем более, что еще не вся готова. Печатать еще не начал. Прац просит подождать, он скоро кончает другую работу».

Не получив от Толстого ответа на свои два письма, Колбасин шлет третье 21 июня: «Писал я к Вам, Лев Николаевич, два письма, не знаю, получили ли Вы их; если нет, то знайте, что «Детство и Отрочество» Бекетов пропустил без всяких помарок… Поэтому, не получая от Вас известий, я решился приступить к набору только на этой неделе. Бумага заказана и к 28 числу будет вся готова, которой выйдет около 100 стоп, поэтому пришлите рублей 300, чтобы разделаться с поставщиком, а Прац подождет до осени, т. е. к окончанию печатания, потому что раньше сентября печатание не будет кончено, во 1-ых потому что у Праца много работы а во 2-ых, не для чего и торопиться; летом время глухое — книжной

торговли никакой — осень же дело другое».

О получении этого или второго письма от Колбасина в дневнике Толстого есть помета в записи от 26 июня: «Вчера получил письма от Колбасина, Некрасова… Надо писать». Из записей дневника не видно, было ли написано письмо Колбасину, но 28 июля в дневнике запись: «С утра написал письмо Колбасину». Это письмо неизвестно. На него Колбасин отвечал 7 августа: «… из сегодня полученных 250 рублей будет уплачено за бумагу 240 руб., следовательно в конце августа или начале сентября потребуется доплатить за бумагу еще 100 руб., которые и прикажите выслать, а также рублей полтораста (150 р.) на уплату переплетчикам и другие мелкие расходы. С Працом же я надеюсь рассчитаться по выходе книги из первой выручки от продажи издания. Кстати, так как будет всего один том, то я полагаю пустить в продажу по 2 руб. Цена кажется умеренная?… К концу сентября постараюсь окончить наше издание и тогда начнем загребать денежки».[279]

В дневнике Толстого под 13 августа имеется запись: «Написал письмо с поправками «Детства и Отрочества» Колбасину». Письмо это неизвест-

---

279 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 91

Письмо это Толстой получил 16 августа; под этим числом в дневнике помета: «Получил письмо от Колбасина».

но, как неизвестны и поправки, посылавшиеся Толстым.

В ответ на это письмо Толстого Колбасин пишет 20 августа: «Пишу к Вам, Лев Николаевич, в кратких словах — очень занят. Деньги все получены, поправки тоже, кажется, можно будет обойтись без цензора. Пропуски из Отрочества постараюсь прислать, хотя их очень много. Печатание началось, но я приостановил, ожидая поправок; все издание обойдется нам в 700 руб. сер. или около, мелким шрифтом, т. е. таким, как «Легкое чтение».[280] В конце августа или в начале сентября пришлите, как я Вам писал, рублей 250, а там посмотрим. Как напечатать в заглавии книги: «История моего Детства и Отрочества», или иначе? — Порошки и мыло Вам высланы. Ваш Д. Колбасин. 26 Августа.»[281]

Следующее из имеющихся в архиве Толстого писем Колбасина от 20 сентября: «Сегодня, многоуважаемый Лев Николаевич, продержал я корректуру последнего листа нашего издания,

---

280 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 92

Сборник «Для легкого чтения. Повести, рассказы, комедии, путешествия»... Изд. А. Давыдова. Спб. 1856—59 гг.

281 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 93

Это письмо приводится целиком, из всех остальных писем Колбасина сделаны извлечения.

и недели через две все будет готово, и книга поступит в продажу. Книга вышла небольшая, но очень милая по наружности. Цена назначается ей 1 р. 50 коп., а с пересылкою 2 рубля, также как и изданная Давыдовым, который тоже окончил печатание.[282] Дороже пустить нельзя. Пожалуйста вышлите мне рублей 300 для окончательной расплаты, а при первой же выручке денег за книгу, я Вам тотчас вышлю весь капитал, затраченный Вами на издание, с подробным расчетом всей операции. Согласны ли Вы, если случится, продать все издание в одни руки, конечно, с большей уступкой, — или продавать небольшими партиями, т. е. экземпляров по 25-ти и более, с уступкою 20 или 25%? уведомите поскорее об этом и также, как мне поступать с будущими доходами? высылать к Вам или сохранять до Вашего приезда сюда. Кстати — когда Вы приедете? Сколько выслать экземпляров, куда, кому именно и собственно Вам?»

Таким образом, на основании этого письма Колбасина, выход в свет первой книги Толстого «Детство и Отрочество» можно датировать первыми числами (не позднее 6-го) октября 1856 года.

---

282 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 94
Речь идет о книге Толстого «Военные рассказы».

Это — книжка в 12 д. л. в зеленой обложке; на заглавном листе ее стоит: Детство и Отрочество. Сочинение Графа Л. Н. Толстого. Санктпетербург. В типографии Эдуарда Праца. 1856. — В книжке 2 нен. и 306 страниц; текст «Детства» занимает 1—171 страницы.

Толстой, надо думать, на письмо Колбасина от 20 сентября отвечал (это письмо неизвестно) и на вопрос, кому раздать экземпляры книги, назвал, очевидно, между прочими Дружинина, который в большом письме от 6 октября писал: «Детство» и «Военные рассказы» я получил и очень благодарю вас за память».[283] Об этом же писал И. И. Панаев Толстому 13 октября: «У меня на столе лежат ваши *«Военные рассказы»* и *«Детство и Отрочество»*. Последнее издание с бóльшим вкусом, но я уже говорил Колбасину, что цвет обертки неудачен, а обертка придает большую красоту книжки».

Об одной из этих книг в дневнике Толстого есть запись под 13 октября: «Рунич был у меня; он купил мою книгу: она есть въ Туле».

Наконец, есть еще одна запись об этих книгах в дневнике Толстого от 9 ноября 1856 г., сделанная

---

283 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 95

Письмо это (не полностью и не указав даты) напечатал П. И. Бюрюков в 1-ом томе биографии Л. Толстого. См. стр. 294—296 второго издания.

в Петербурге, куда Толстой приехал 7 ноября: «Книги идут плохо».

Об этом же писал он брату С. Н. Толстому 10 ноября: «Книги идут плохо. Продано и тех и других экземпляров 900».

ПЕЧАТНЫЕ ТЕКСТЫ «ДЕТСТВА» (В «СОВРЕМЕННИКЕ» 1852 г. И В ИЗД. 1856 г.)

В вышеприведенном неотправленном письме к Некрасову от 18 ноября Толстой писал о тексте «Детства» в «Современнике», что «нет возможности перечесть» всех перемен: бесчисленных обрезок фраз без малейшего смысла, опечаток, неправильно переставленных знаков препинания, дурной орфографии, неудачных перемен слов. Не зная текста рукописи, посланной Толстым Некрасову, мы не можем судить о том, насколько был искажен этот текст в «Современнике», но, сравнивая последний с текстом издания 1856 г., нужно, пожалуй, отзыв Толстого признать чересчур суровым. В отношении опечаток, например, текст «Современника» не хуже большинства русских книг, вообще, как известно, весьма неисправных по этой части. Но Толстой не ограничился общей оценкой и указал конкретно

семь искажений текста рукописи: 1) относительно заглавия в «Современнике» Толстой пишет: «Заглавие *Детство* и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения; заглавие же *История моего детства* противоречит с мыслью сочинения. Кому какое дело до истории *моего* детства?» Непонятно, о каком «предисловии» говорит здесь Толстой: имеет ли он в виду какое-то свое предисловие, не напечатанное Некрасовым и до нас не дошедшее, или говорит о том, что редактор мог бы сам прибавить предисловие к присланному тексту?

Также неясен и вопрос о заглавии. Несмотря на то, что Толстой определенно был против заглавия «История моего детства», это заглавие имеется и в издании 1856 года, на отдельном листе после заглавного и на первой странице текста, и сделано это, надо думать, с согласия самого Толстого, так как Колбасин, как мы видели, в письме от 20 августа спрашивал о том, какое печатать заглавие. 2) В 1-й главе в «Современнике» вместо «образок моего ангела» напечатано «портрет моей маменьки». Эта перемена была сделана, конечно, по цензурным требованиям. 3) В XII главе, в конце пятого абзаца в «Современнике» напечатано: «На дворе караульщик стучал в медную доску»,

вместо: «в чугунную». Но «медную» стоит и в издании 1856 г., так что эту поправку или не дал Толстой Колбасину, или последний не доглядел ее в корректуре.[284] 4) В XII главе, в конце третьего с конца абзаца в «Современнике», напечатано: «в слезах пал на землю» вместо «повалился». Так — «повалился» и стоит в изд. 1856 г. 5) В главе XIII, вторая половина первого абзаца, начиная со слов: «Но напудренная голова...» заменена в «Современнике» словами : «Она даже подавила в сердце своем любовь к молодому официанту Фоке». Возможно, что и эта замена сделана по цензурным требованиям. Текст Толстого восстановлен в изд. 1856 г. 6) В XIV главе, в четвертом абзаце, в «Современнике» напечатано: «Несколько борзых собак — одни тяжело дышали, лежа на солнце»... В письме к Некрасову Толстой указывал, что у него в рукописи было «двошали» и утверждал, что замена слова «двошали» словом «дышали» доказывает незнание языка. Тем не менее и в изд. 1856 г. стоит «дышали». Очевидно, Толстой отказался от этого провинциализма. 7) В XXV гл., в записке Мими в « Современнике» слово délire переведено «горячности», вместо «бреду»,

284 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 96

На основании письма Толстого мы и заменили слово «медную» издания 1856 г. словом «чугунную».

как и стоит в изд. 1856 г.[285]

После издания 1856 г. текст «Детства» не подвергался никаким *авторским* изменениям, почему нами текст последней (IV) редакции печатается по изданию 1856 г., по новой орфографии, но с сохранением начертаний, передающих особенности произношения (цаловал, пожалуста).

Отличия текста издания 1856 г. от текста «Современника» даны на стр. 97 — 99. Кроме указанных там отступлений от текста изд. 1856 г. нами сделаны две конъектуры в этом тексте.

XXVI гл. первый абзац и в «Совр.» и в изд. 1856 г. начинается: «15 апреля мы выходили». Т.к. предыдущая глава и в «Совр.» и в изд. 1856 г. начинается: «16 апреля…», то число «15» нельзя принять. В изд. 1873 г. поэтому стоит «25 апреля», что тоже нельзя принять. В рукописи III ред. стоит это ошибочное «15 апреля». Мы поставили «18 апреля» на основании рукописи I ред.

XXVIII гл. в абз. «Да мой батюшка», — в «Совр.» и в изд. 1856 г.: «она меня Наташей называла». Нами печатается: «она меня Нашей называла», т. к. так в рукописи III ред.

---

285 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 97

Из этого явствует, что в посланной Некрасову рукописи записка Мими имелась лишь на французском языке, Некрасов же дал один перевод. В изд. 1856 г. дан тоже один перевод.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

Первую часть настоящего тома составляют тексты «Детства». Сюда входят, во-первых, окончательная (четвертая) редакция «Детства», печатаемая нами по изданию 1856 года; во-вторых, первая редакция романа «Четыре эпохи развития», из которого вышли «Детство», «Отрочество» и «Юность», впервые появляющаяся в печати, и, в-третьих, отрывки из второй и третьей редакций «Детства», в большей своей части также впервые публикуемые.

Вторая часть тома состоит из неизданных произведений, впервые печатающихся с подлинных рукописей. Сюда входит все, написанное Толстым до «Детства».

Этот материал вполне характеризуется заголовком *Юношеские опыты*. Действительно, это — или буквально первые «пробы пера» или, во всяком случае, разнородные упражнения, на которых пробуждающееся дарование проходило первую литературную школу, отражая в этих опытах

серьезные умственные запросы (отрывки философского характера) и часто художественные стремления и литературные влияния (Стерн).

А. Е. Грузинский.
М. А. Цявловский.
–

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ПЕРВОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Н. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв во всех, без каких-либо исключений, случаях, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит большая буква, и с воспроизведением начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Толстого и лиц его круга (цаловать, скрыпеть).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Л. Н. Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого», «тетенька» и «тетинька»). Слова, не написанные явно по рассе-

янности, дополняются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся и это оговаривается в сноске.

На месте слов, не допустимых в печати, ставится в двойных прямых скобках цыфра, обозначающая число невоспроизводящихся слов: [[1]].

Неполно написанные конечные буквы (как напр., крючок вниз, вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «кый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ]» лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [*1 неразобр.*] или: [*2 неразобр.*], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся *не* в сноске и ставятся в ломаных < > скобках, но в отдельных случаях допускается воспроизведение

и зачеркнутых слов в ломаных < > скобках в тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое воспроизводится курсивом. Дважды подчеркнутое — курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного написания); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях — с оговоркой в сноске: Абзац редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются

(петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Обозначения в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают:

* — что печатается впервые,

** — что напечатано после смерти Л. Толстого,

*** — что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и

**** — что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.